HX274.7
.B47
A33
1927
c.1

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

PRESENTED BY

Donald J. Raleigh

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00019068170

МОСКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ

2

EDUARD BERNSTEIN

KINDHEIT UND JUGENDJAHRE

VON 1850 BIS 1872

EIN JEDER LEBT'S!

ЭДУАРД БЕРНШТЕЙН

HX274.7
.B47
A33
1927
4-12-01
335.5
Б 51

ДЕТСТВО и ЮНОСТЬ

1850—1872

БЕЛЕБЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

У КАЖДОГО—СВОЯ ЖИЗНЬ!

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
Ар. М. ГИНЗБУРГА
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
А. ТАЛЬГЕЙМЕРА
ПОД РЕДАКЦИЕЙ С. Ш.

Detstvo i IUnost'

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

THE LIBRARY
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

Типография
и Словолитня
„КРАСНАЯ ПРЕСНЯ“
М. Грузинская ул.,
Столярный,
№ 5-7.
Мосгублит № 48.862.
Тираж 4.000.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие Тальгеймера	7
„ автора	13
Уголок Берлина семьдесят лет назад	19
Происхождение и родители	21
Братья и сестры	32
Маленький, слабенький мальчик	42
Тон и взаимоотношения в родительском доме	52
Первые дружеские связи	55
Отто	76
Шахматная игра и игра шахматами	77
Клятва	79
Половое просвещение и что из этого вышло	81
Школьная жизнь	85
Учитель Леман и телесные наказания	90
Неудачная классная борьба	92
Неудачная педагогика истории	96
Озорная выходка	98
Понятие о чести в пятом классе	99
В Вердерской гимназии	100
Юноша девушку любил	108
Страна Иоганнитов	109
Театр и танцы	111
Решение вопроса о моей карьере	117
Всяческие перемены	118
В театре в качестве „зайца“	121
Признание	123
Банкирский дом „Братья Гутентаг“	126
Литературные впечатления 1866—1869 гг.	136
Опасные друзья	139
Потеря матери	143
Крушение веры в загробную жизнь	147
Упущенные годы	149

Стр.

Театр и театральный мир 154
Клара Грабовская и ее семья 162
Начало дружбы с Вильгельмом Бадингом 166
Перемены в моей работе 171
Попытки в области драмы и комедии 177
Под знаком „Утопии“ 183
От „Утопии“ к социал-демократии 186

★

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ

Предлагаемая книга Бернштейна является первым томом задуманного им издания своих воспоминаний. В ней изложение доведено как раз до момента его вступления в ряды социалдемократии. Политическая деятельность Бернштейна остается, таким образом, вне рамок этой книги. Нельзя сказать, чтобы это служило только к невыгоде для нее.—Ведь благодаря этому Бернштейн избегает искушения перекрашивать вещи соответственно его нынешней политической позиции.

Воспоминания детства и юности Бернштейна имеют, однако, не только биографическую ценность, и это оправдывает их перевод. Манера Бернштейна теряться в тысяче отдельных фактов, которая приводила в теоретических работах к тому, что он терял из виду общее и из-за деревьев не видел леса, в данном случае—пошла ему на пользу (в своей статье „Как становятся социалистом", в Мейнерском сборнике „Современное учение о народном хозяйстве в изложении самих авторов", Бернштейн сам называет себя „очень односторонней", аналитической головой).

Недостаток большинства мемуаров заключается в том, что их составители свои скудные воспоминания, которые еще держатся у них в памяти, топят в общих резонерских размышлениях о своей эпохе. Хорошо еще, если пишущий воспоминания воспользуется кое-какой литературой, чтобы хоть правильно „вспоминать".—Бернштейн отбросил общие размышления и ограничивается изложением отдельных конкретных фактов. Здесь ему приходит на помощь его баснословная память, которая позволяет ему еще и сейчас, по прошествии двух человеческих поколений, вспомнить самые незначительные мелочи, давно забытые куплеты, анекдоты, обеденные меню у матери, цены этих обедов. Мы получаем, таким образом, весьма тщательно исполненную художественную миниатюру, рисующую нам среду, где вырос молодой Бернштейн, отдельных лиц из

круга его знакомых и родственников, их быт, их духовные интересы. Это—мир берлинской мелкой буржуазии в период между поражением революции 1848 г., с одной стороны, и возникновением вильгельмовской империи и эпохой грюндерства [1]). Ценность этой книги в том и заключается, что она дает нам одно из лучших описаний этого мелкобуржуазного мира.

Одного только не следует забывать при чтении книги Бернштейна. В ней фигурирует только мелкая буржуазия,—ремесленники, чиновники и т. д. Но как раз описываемые Бернштейном годы (от 1850 г., начала нового под'ема кон'юнктуры после жестокого кризиса 1847 г. и после революции и контр-революции, до краха в 1873 г.) были в то же время годами безвозвратного разложения мелкой буржуазии, которая в домартовский период, по крайней мере по своей численности, представляла решающую силу в немецких городах. Этот процесс разложения начинается не только с 1848 г. К 1848 г. мы уже имеем в Германии основу капиталистической крупной промышленности и современного пролетариата, который был достаточно силен, чтобы нагнать на буржуазию такой страх, что она бросилась в спасительные об'ятия контрреволюции. Германская мелкая буржуазия именно потому и могла так воспламениться от революционной искры, что капиталистическое развитие все больше подрывало основы ее существования. Самостоятельный ремесленник все больше должен был уступать поле деятельности крупному фабриканту, превращаться в наемного рабочего или же только сохранял видимость самостоятельности. Мы видим, как отец Бернштейна, после тщетных попыток устроиться самостоятельно жестяником, кончает тем, что становится паровозным машинистом, наемным рабочим—пусть несколько высшего ранга, напоминающим как бы чиновника. Но в 1848 г. большинство рабочих рук в Берлине было еще занято в мелкой промышленности. Число самостоятельных мастеров превосходило число подмастерьев. Из важнейших отраслей промышленности в Берлине машиностроительная занимала в 1847 г. 4.000 рабочих, текстильная—2.500 рабочих. Только победоносное развитие капиталистической промышленности в пятидесятых, шестидесятых и в начале

---

1) Эпоха спекулятивной горячки после победоносной войны с Францией в 1870 г., принесшей Германии 5 миллиардов франков контрибуции.

семидесятых годов, чуть прерванное кризисом 1857 г., отметило собою окончательное падение ремесла, как господствующего способа производства в Германии, и превратило последнюю из земледельческой страны в промышленную. Остановимся на развитии Берлина. В 1846 г. Берлин насчитывал 397.767 жителей, в 1861 г.—547.571, а в 1875 г.—уже 1.131.706. Число паровых машин в Берлине, начиная с 1846 г. до 1875 г., возросло с 75 до 1.034 шт; мощность этих машин—с 883 до 13.906 лошадиных сил. Число выданных разрешений на сооружение фабрик составляло в 1840—1850 гг. в среднем 10—20 в год, в 1853 г.—134, в 1854 г.—88, в 1855 г.—132, причем, разумеется, отдельные постройки становились все крупнее. Общее число лиц, занятых в производстве предметов одежды и прачечно-красильном деле (как самостоятельно работающих, так и по найму) повысилось с 1846 г. до 1871 г. с 20.918 до 69.374 человек. (В конфекционном деле, т.-е. в производстве готового платья, в пятидесятых годах, благодаря применению швейной машины, победила крупная промышленность; в это же время возникли более крупные красильные и прачечные заведения.) В производстве механических и ручных инструментов за то же время число занятых лиц увеличилось с 4.601 до 14.529 и т. д. Продукция возрастает в три-четыре раза. Далее, в пятидесятых годах в Берлине учреждается ряд крупных банков: в 1851 г. Учетное общество (Discontogesellshaft), в 1856 г. Берлинское торговое общество (Berliner Handelsgesellschaft). После 1866 г. Берлин становится руководящим центром биржевых операций вместо Франкфурта. Таким образом, время, описываемое Бернштейном, было эпохой могучего экономического переворота. В его полуидиллическом описании это отражается только косвенно. Мы узнаем, например, только мимоходом, что сыновья ремесленников становятся наемными рабочими. Тот крошечный мир, который он описывает, кажется совершенно неподвижным и замкнутым. Таким он, однако, был лишь в сознании мелкого буржуа. Демократическая мелкая буржуазия, в среде которой вырос Бернштейн, не замечала вовсе исторического развития.—Между остротами празднošатающегося Нанте[1]) и остротами из эпохи

---

[1]) Уменьшительное имя от Фердинанд. Юмористический тип в берлинской сатирической литературе того времени.

парламентского конфликта, которые передает Бернштейн, не видно большой разницы. Упоминаемый в этой книге дядя Эдуарда Бернштейна, Арон Бернштейн, бывший в качестве передовика в Volkszeitung („Народной газете“) выразителем взглядов этой мелкой буржуазии, находил в революции 1848 г. особенно похвальным то, что в ней, по его мнению, не было „так называемого“ рабочего класса. Заметная политическая роль мелкой буржуазии принадлежала уже прошлому. Буржуазия, которая хотела обеспечить себе свою верную прибыль и свой покой, перебежала в лагерь Бисмарка, который устранил важнейшие препятствия к дальнейшему капиталистическому развитию путем „революции сверху“. С другой стороны, рабочий класс, оправившийся от ударов реакции и колоссально увеличившийся численно, благодаря промышленному развитию, образовал свою собственную политическую партию. И она скоро стала руководящей оппозиционной силой в Германии. Мелкобуржуазным демократам, которые не желали ни смириться пред блеском Бисмарка, ни оставаться без практического влияния, не оставалось ничего другого, как примкнуть к рабочему движению. По этому пути пошел ветеран демократии Якоби, на тот же путь вступил и совсем еще юный Бернштейн. О том, что не социальные моменты в первую очередь побудили его примкнуть к социал-демократии, говорит он сам в упомянутой статье в Мейнерском сборнике:

„Что же еще могло бы воодушевить меня в социализме, раз я, не принадлежа к буржуазии, в то же время не принадлежал также к пролетариату? Требование Лассаля о государственном кредите для производительных товариществ было скорее агитационным средством, чем самоцелью, способной воздействовать на душу. Эйзенахская программа заключала в себе, кроме пунктов, взятых из устава I Интернационала, и требований буржуазной демократии, еще только очень неопределенное требование государственного содействия потребительной кооперации; под этим требованием можно было подразумевать очень много прекрасных вещей, но воспламенить кого-либо это еще не могло. Но вот — интернационализм.

Во время войны, как ни близко принимал я к сердцу интересы Германии, меня снова охватил ужас от того, какие

гибельные изменения производит в психике народа каждая война и вызванное ею национальное чувство. Тем достойнее удивления казался мне образ действий Бебеля, Либкнехта и их товарищей во время и после войны".—

То, что импонировало Бернштейну в интернационализме Бебеля и Либкнехта, это, конечно, не международная революционная солидарность,—у Бернштейна, например, нет ведь ни слова о Парижской Коммуне,—это прежде всего отрицательное отношение к завоевательной войне. Это именно и было тем, что в 1870 г. связало лучших представителей мелкобуржуазной демократии с социал-демократией.

Социальные моменты, опыт, вынесенный из эпохи грюндерства, оказали на Бернштейна меньше влияния при его вступлении в ряды социал-демократии. Он имел возможность, благодаря службе в банковом деле, проследить различные стадии биржевой спекуляции вплоть до краха. Оргии, справлявшиеся при этом, повторились в Германии, может быть, только во время апогея инфляции. Тогдашние Штроусберги и Квисторпы имеют себе равных в германской истории только в лице теперешних Стиннесов, Барматов и т. д. Германский капитализм в эпоху грюндерства выступал во всеоружии священного учения манчестерской школы, с его непоколебимой верой в благодетельное действие свободной конкуренции, в безграничность хозяйственного прогресса и роста всеобщего благосостояния—при капитализме. Об этом возвещали на всех перекрестках идеологи капитализма. Крах 1873 г. поколебал в широких кругах веру в непогрешимость капиталистических символов веры. В эту то пору целый ряд интеллигентов присоединяется к социал-демократии. Эфемерный [1]) „социализм" Дюринга имеет колоссальный успех. В первые годы своей социал-демократической деятельности Бернштейн также был приверженцем Дюринга. Бернштейн об'ясняет это тем, что его привлек либеральный характер системы Дюринга. И этот факт также показывает, что Бернштейн пришел к рабочему движению, как мелкобуржуазный демократ, как продукт той среды, которую он здесь описывает. После различного рода колебаний он в конце концов здесь и остался. Но

---

[1]) Эфемера, или поденка, живет всего один день.

именно поэтому он так близок к миру своей юности во всей его ограниченности, именно поэтому он и дает его верную картину. Эта картина, вставленная в общие рамки хозяйственного и политического развития того времени, способствует более глубокому знакомству с его историей.

Мы не знаем в немецкой (а тем менее в какой-либо другой) литературе ни одной книги, которая обрисовала бы нам этот мелкобуржуазный мир так наглядно, так осязательно, как эти воспоминания Бернштейна. А между тем, конец мелкобуржуазной демократии и начало социал-демократии в Германии теснейшим образом переплетены между собой. И это еще не все. Дальнейшее развитие германской социал-демократии, оформление ревизионизма, связь мелкобуржуазных демократических традиций с иллюзиями немецкой рабочей аристократии и рабочей бюрократии,—все это можно понять и вполне живо представить себе только, если изучить мир этой демократической мелкой буржуазии.

Описания этого мира нельзя найти в обычных исторических книгах.

Русскому читателю, желающему понять историю германской социал-демократии, мы можем для этой цели лучше всего рекомендовать книгу Бернштейна как первоклассный (и притом живой) труд, составленный по первоисточникам.

А. Тальгеймер.

Москва, 25 февраля 1927 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выпуская в свет объемистый труд о себе самом и о пережитом, я прекрасно сознаю, что такой шаг нуждается в оправдании. Я, конечно, не могу иметь намерения причислить себя к тем личностям в истории человечества, которые представляют интерес для широкой публики во всем, что касается их жизни или переживаний, хотя бы это было вообще малоценно или даже банально. Сознавая это, я должен, следовательно, добиваться, по крайней мере, признания за мной смягчающих вину обстоятельств.

И вот, прежде всего я осмеливаюсь привести в свое оправдание то, что я решился на этот шаг,—если мне позволено цитировать нашего величайшего поэта,—„не по дерзкой самонадеянности“, а в результате многолетних настояний, идущих ко мне с разных сторон.

Хронологически одним из первых, приступавших ко мне с подобным требованием, был мой партийный товарищ Людвиг Франк, павший одной из первых жертв мировой войны.

Дело было в начале 1914 г.,—вероятно, в январе. Вместе с несколькими членами нашей партии мы оба принимали участие в одном товарищеском собрании проживавших в Берлине русских социалистов. Собрание было посвящено воспоминаниям об основании первой в России нелегальной газеты. Многими из присутствующих были произнесены приветствия в честь этого события, и когда очередь дошла до меня, я угостил их кое-какими воспоминаниями о моей первой встрече в Берлине, а потом и в Цюрихе, с более или менее известными русскими социалистами. Это побудило Людвига Франка, когда собрание было закрыто, и я собирался уходить, громко крикнуть мне из-за стола, за которым он остался вместе с несколькими товарищами: „Вы должны написать свои воспоминания!“

Затем пришла мировая война с ее угнетающими душу раздорами в лагере социалистического Интернационала. На втором году войны я принял предложение эльзасского поэта и писателя Рене Шикеле, который тогда издавал журнал „Die weissen Blätter“ („Белые листы“), и написал для этого журнала ряд очерков из периода моих странствований и изгнания под общим заглавием „Völker zu Hause“ („Как живут народы“). Эти очерки, пополненные новой главой о народной жизни и о пролетарских социалистах Англии, которая придала им некоторую законченность, были собраны и выпущены отдельной книгой издательством Эрих Рейс в Берлине под заглавием: „Aus den Jahren meines Exils“ („В годы моего изгнания“)[1]. В этой форме они выдержали различные издания и были переведены на иностранные языки. И вот, частью устно, частью письменно стали ко мне поступать настоятельные требования от людей, имеющих некоторый авторитет,—не ограничиться этим, а дополнить эти очерки описанием собственной жизни и моего развития внутри и вместе с социал-демократической партией.

Хотя эти и другие обращения ко мне придавали немного бодрости, но все же я долгое время не мог решиться последовать им. Не потому, что мысль об этом была мне неприятной. Было бы неправдоподобным жеманством стараться кого-нибудь уверить в этом. Напротив, эта мысль меня очень сильно привлекала, и я хотел бы видеть писателя, который в подобном случае смотрел бы иначе. В конце концов, каждый из нас переживает события, которые он охотно изложил бы в той или иной литературной форме.

Но какая форма изложения лучше всего подходит для этой цели? Этот вопрос постоянно занимал меня, когда я начинал думать о выполнении своего намерения. Поскольку дело шло о моих собственных переживаниях, я охотнее всего остановился бы на некоторой форме романа, использовав из пережитого то, что мне ближе к сердцу. В моем прошлом было много такого, что если бы изложить его точно в таком виде, как оно происходило в действительности, то я мог очутиться пред вопросом: кого на свете это собственно может заинте-

---

[1]) Русский перевод вышел в Госиздате Украины. 1923 г.

ресовать? А между тем для меня самого, для моей,—если так можно выразиться,—душевной жизни эти переживания были совсем не безразличны. В романе, для изображения подобных душевных переживаний, можно придумать сцену, которая придала бы им драматический характер. Но жизнь в девяносто девяти случаях из ста носит эпический, а не драматический характер; будь иначе, она, вероятно, стала бы совершенно невыносимой. Но эпическое изложение собственных душевных переживаний, вероятно, было бы, по крайней мере, убийственно скучно. С другой стороны, опять-таки политические факты из моей жизни, которые я собирался описывать,—поскольку они должны быть представлены в истинном свете,—никоим образом не могут быть изображены в форме романа: в нем всегда имеется смешение правды и вымысла, а не история. Так я стоял пред выбором и никак не мог притти к определенному решению; наконец, отвлеченный другими требованиями жизни, я на время вообще оставил мысль об этом.

Но вот около года тому назад из кругов моих политических друзей это требование возобновилось и по поводу 75-летия моего рождения стало очень настойчиво повторяться,—о том, чтобы теперь уже серьезно приняться за составление и опубликование своих воспоминаний. Мне указывали на то, что я принадлежу к немногим живым свидетелям того времени, которое огромному большинству нынешнего поколения известно только из книг, и наверное могу сообщить немало в дополнение к ним. Поэтому мой прямой долг не откладывать в долгий ящик составление и опубликование записок. Я снова услышал буквально тот же возглас, с которым одиннадцать лет назад обратился ко мне Людвиг Франк: „Вы должны написать свои воспоминания!“

Я не стал больше противиться этому и кстати нашел программу, дающую мне возможность разрешить колебание, которого я в свое время не сумел преодолеть. Она, правда, требует не ограничиться одним томом воспоминаний, как я долгое время предполагал, а распределить материал на три тома. Мера эта, впрочем, неизбежна, если сколько-нибудь считаться с той суммой пережитого, как личного, так и политического характера, с которой придется иметь дело. Если взять

только последние, т.-е. политические события, то они охватывают период в пятьдесят три года. В апреле 1922 г. я мог праздновать день, в который исполнилось полвека моего пребывания в рядах социал-демократической партии. И если этот факт прошел совсем тихо, то во мне он оставил глубокое чувство благодарности за те многие высокие порывы, которым я обязан своим пребыванием в партии до этого дня.

Об этом, конечно, нет еще ни слова в первом томе воспоминаний, который я настоящим выпускаю в свет. Он описывает годы детства и первой юности и заканчивается кануном моего вступления в социал-демократию. Второй том должен быть посвящен первой части того периода моей жизни, на которой лежит печать принадлежности к социал-демократии и работы в ней. Он охватит шесть лет,—с 1872 до 1878 г.,—в Берлине и десять лет—с 1878 до 1888 г.—в Швейцарии. В Берлине я соединял службу в банковском предприятии со страстной пропагандой социалистического учения, а временами с агитаторской деятельностью по поручению социал-демократической партии. В Швейцарии из десяти—я семь лет был редактором „Züricher Socialdemokrat" (Цюрихский социал-демократ). В третьем томе я предполагаю описать годы моей жизни в Лондоне с 1888 г. до 1900 г., возвращение в Германию и самое существенное из моей дальнейшей жизни и деятельности на родине.

Это разделение томов по эпохам дает возможность почти совсем покончить с той двойственностью в описании душевных переживаний и политических фактов, о которой я долгое время думал с ужасом. Совершенно обойти эту двойственность нет возможности, да это вышло бы опять-таки фальшиво, так как ни о какой эпохе я не могу говорить только как хроникер, но разделение по томам дает возможность свести двойственность до такого минимума, что одна сторона не выпирает на передний план в ущерб и за счет другой. В первом томе внутренняя сторона, естественно, играет более значительную роль. В нем описывается духовный рост ребенка и подрастающего юноши, зависящий еще в сильной степени от унаследованных черт, а равно от вне его лежащих жизненных условий и прочих влияний окружающей среды. Личное переживание играет здесь еще главную роль, меж тем как в следующих

двух томах оно все более отступает на задний план перед переживанием исторических событий и активным участием в политической борьбе,—перед интересами общими. Характер уже достаточно определился, и теперь ему остается стойко проявить себя в жизни.

Для писателя, пишущего о самом себе, содержание первого тома представляет не меньший интерес, чем содержание обоих следующих томов, и совершенно естественно, что, чем более почтенного возраста сам писатель, с тем большей любовью он задерживается именно у темы своего первого тома. Я вполне сознаю связанную с этим опасность для литературного успеха работы. Однако, я все-таки не мог решиться обойти или только вскользь упомянуть о том, что, по моему убеждению, имело роковое влияние на мое развитие в том или ином направлении и что притом еще рисуется мне в моем воображении как живой факт. Удалось ли мне описать эти факты так, чтобы читатель получил, по крайней мере, приблизительно подобное же впечатление, и вообще удалось ли мне все то, что живет во мне, представить и читателю, как живое,—это должен показать успех книги. Сам я могу на этот счет только высказать свои пожелания, ибо в таких вещах никто не может быть уверен в чужих впечатлениях. Однако, в процессе моей работы мне постоянно и сызнова придавали бодрость слова поэта, которые я ставлю эпиграфом к этой книге: „Ein Jeder lebt's!" То, что мы сами пережили, мы можем также, в какой бы то ни было форме, во всякое время перечувствовать с другими из пережитого ими.

Посвящается же эта книга памяти дорогой спутницы моей жизни Гине, как она предпочитала называться, потому что данное ей при рождении имя Регина [1]) казалось ей слишком претенциозным. В течение почти сорока лет нашей совместной жизни она была мне верной, никогда не слабеющей помощницей во всех жизненных боях. Кто знал ее и нашу совместную жизнь, тот знает, как бесконечно много обязан я этой верной душе, которая сама всегда скромно держалась в тени. Но издатель этих воспоминаний может подтвердить, что без ее нравственной поддержки эта книга, вероятно, так и не была бы

[1]) Имя, взятое у римлян; по-латыни значит „царица".

написана. И если мой труд хотя бы только отчасти удовлетворяет тем требованиям, какие покойная жена считала когда-то возможным пред'являть к нему,—конечно, книга имеет право появиться на свет, как память о ней.

Эдуард Бернштейн.

Март 1925 г.

УГОЛОК БЕРЛИНА СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД

Вплоть до второй половины шестидесятых годов XIX столетия Берлин еще был обнесен городской стеной. Но не следует при этом воображать себе какие-нибудь крепостные стены, о былом существовании которых свидетельствуют еще и поныне названия различных улиц внутренних частей, города. То, что в наше время называлось городской стеной. было воздвигнутая в XVIII столетии при Фридрихе Вильгельме I окружная стена. Главнейшим назначением ее было препятствовать массовому дезертирству солдат, которые в то время, когда еще не знали всеобщей воинской повинности, вербовались более или менее принудительно. Кроме того, стена должна была еще служить препятствием уклонению от уплаты внутренних пошлин, акцизов. Что стена не была крепостным сооружением, каковым мы, дети, ее считали, было ясно для опытного человека уже из ее небольшой высоты и незначительной толщины. На расстоянии около четырех метров один от другого тянулись столбы такой же вышины и почти в три четверти метра толщины. Скрепленные между собою дугообразно, они окружали собственно стену, которая была толщиною едва ли в полметра. Немногочисленные ворота в городской стене, запиравшиеся высокими железными решетками, имели справа и слева по караулке, одну из которых занимал налоговый дозор, другую — военный караул. Задачей первого было следить, чтобы ни один предмет, подлежащий помольному или убойному налогу, не проскользнул беспошлинно в столичный и престольный град. Военному караулу делать почти нечего было, разве только выстроиться „на краул“, когда чрез ворота проследует какая-нибудь военная особа с весом, что у иных ворот происходило довольно редко; да еще долгое время у каждых ворот горнист по вечерам и утрам играл зорю.

Внутри городских стен для непосредственной связи между городскими воротами служили прямые дороги от одних к другим, которые большею частью носили название Kommunikation[1]). Это слово обычно выговаривалось в народе „комникацион“ или еще „коммикассион“.

---

[1]) Путь сообщения, дорога.

Только местами эти пути сообщения были усеяны домами на противоположной стороне от стены и только там они имели настоящую мостовую с тротуаром. В общем же эти пути сообщения обрамлялись с одной стороны городскими стенами, а с другой—стенами или заборами, за которыми скрывались сады, усадьбы, склады и т. п. А вдоль городских стен, тесно прижавшись к ним, шла так называемая Bimmelbahn, окружная железная дорога, которая служила для обмена вагонами между берлинскими вокзалами.

Были еще смешанные типы, частью настоящие улицы, частью просто пути сообщения. Таков был „Ангальтский коммуникацион", который тянулся от Anhaltische Tor до Hallische Tor (от Ангальтских до Галльских ворот). На всем своем протяжении, — больше километра, — эта улица насчитывала к 1860 г. всего только восемь домов; на всем остальном пространстве тянулись заборы садов, которые принадлежали к домам по Wilhelmstrasse (улица Вильгельмштрассе) и—в самом конце—к домам на площади Belle-Alliance (площадь Согласия). Возле Hallische Tor улицу замыкали две фермы так называемых Ackerbürger'ов,—городских жителей, которые занимались сельским хозяйством. У одного из них мне приходилось брать молоко, когда у нас дома был грудной ребенок,—а это бывало, по крайней мере, каждые два года. Со мной дважды был такой случай. Когда я поспел туда уже по наступлении темноты и должен был разыскать хозяина, я его нашел в квартире, где он сидел вместе со всей семьей за большим круглым столом; перед ним лежала раскрытая библия, и он, при тусклом свете простой лампадки, читал своим чадам и домочадцам главу какого-то из двух заветов. Это произвело на меня долго незабываемое впечатление.

Дома этого „пути сообщения" начинались на углу Ангальтской улицы номером 1 и кончались, считая в том числе шесть незастроенных участков, номером 14. По стилю постройки и по характеру обитателей эти дома представляли большие различия. В целом покрытая ими часть улицы была отпрыском так называемого Geheimratsviertel (квартал тайных советников). Так назывался тот район города, который охватывал часть Friedrichstadt, а вне городских стен включал участок Берлина от Tiergarten к востоку до Schönebergerstrasse, замыкаясь на юго-западе Landwehrkanal'ом.—Этот район был большею частью населен высшей и средней бюрократией. На нашей улице некоторые дома были сплошные, что тогда считалось уже чем-то важным; самым видным из них был как раз дом № 14, после которого „путь сообщения" из настоящей „улицы" превращался в „дорогу". Над подвальным этажом, где помещался швейцар, насчитывалось еще только три этажа: партер, пер-

вый и второй этаж [1]). В числе его квартиронанимателей имелся один настоящий барон, именно барон фон-Мальцан. Уже изрядно проще был дом № 13, но и он все-таки мог блеснуть именем: там жил видный специалист по уголовному праву профессор Фридрих Бернер. Еще проще был дом № 12. Здесь самыми видными жильцами были: советник счетной палаты Ней и вдова юстиц-советника Гинтша. Номеров 8 до 11 еще не было. № 7 был опять сплошной дом с очень важным видом, № 6 был „добропорядочный“, № 4—тоже, № 2—менее добропорядочный и № 1—так себе.

За исключением №№ 7 и 14, во всех домах среди жильцов существовали довольно значительные классовые различия. В одном и том же доме жили высшие и средние чиновники, различного достатка купцы и мелкие ремесленники, интеллигенты и рабочие. Но как бы ни воспринимали менее состоятельные жильцы разницу между своим положением и положением более состоятельных, однако на соседских взаимоотношениях это не отражалось. Эпоха была еще слишком пропитана стародавностью, чтобы можно было серьезно думать о каком-либо близко надвигающемся перевороте.

Два дома, № 12 и № 13, были своего рода близнецами и имели общее домоуправление. Они были четырехэтажные, что уже обусловливало большое различие в благосостоянии жильцов. Кроме того, в каждом из них квартиры в левом флигеле были меньше, чем в правом; затем каждый имел еще в глубине корпус с квартирами опять-таки разной величины. Это приводило к соседству, довольно пестрому по социальному положению; к тому же довольно длинные дворы отделялись один от другого не слишком высокой стеной, так что на одном дворе было слышно, что творилось на другом. Для № 12 это, если можно так выразиться, было выгодно, потому что в № 13 было гораздо больше жизни и шуму, чем здесь. Но для меня № 12 был важнее, так как в этом доме, начиная с грудного возраста, я провел свои детские и юношеские годы.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РОДИТЕЛИ

Мой отец, Якоб Бернштейн, был родом из Данцига, где отец его имел торговлю, связанную с библиотекой для чтения. Родословная отца ведет далее в Польшу, насчитывая ряд ученых и раввинов. Да и дедушка мой был в своем роде человек ученый. Он охотнее отдавался чтению своих книг, чем торговле. Погруженный в книгу, он готов был иной раз с досадой прикрикнуть на покупателя, вошедшего за какой-

[1]) Наш первый этаж в Германии называется партер; отсюда наш второй там первый и т. д.

нибудь покупкою: „Разве нельзя купить это где-нибудь в другом месте?“ Торговлей он поэтому не скопил себе богатства, и только в более поздние годы выправил свои домашние дела, поступив на службу в податное присутствие. Благодаря его учености, к нему многие обращались за советами,—большею частью, конечно, единоверцы, но и христиане-соседи умели его ценить. Во время праздника кущей последние охотно являлись, чтобы принять участие вместе с семейством Бернштейнов в празднестве, происходившем в сооруженной на дворе беседке. Сохранившиеся изречения дедушки дышат тонким юмором и обнаруживают, что веяние духа века просвещения коснулось и его дома. С большим рвением отдавался он, как и все его домочадцы, мужчины и женщины, шахматной игре. При этом происходили иногда и сцены, когда из-за игры разгорались страсти. Отец рассказывал про мою бабушку: однажды во время игры дедушка сильно стеснил ее королеву; она вдруг схватила фигуру, швырнула ее в сторону с криком: „на тебе малку“ (малка по-еврейски королева), и вся в слезах вышла из комнаты.

Из трех сыновей моего дедушки старший, Арон Бернштейн, по семейной традиции должен был стать раввином; когда он достиг требуемого возраста, его с этой целью отправили в раввинскую школу в Фордон, в Западной Пруссии. Двух других сыновей дедушка отдал в обучение ремеслу. Мой отец—крепыш среднего роста—изучил ремесло жестяника; меньшой сын—Мориц—менее рослый, а также и более слабый, был предназначен для словолитейного ремесла, но он не остался при нем.

Да и мой отец не слишком долго удержался в своем ремесле, хотя он нелегко относился к перемене профессии. Он добросовестно вынес свои годы ученичества и, по их истечении, выполнил по всем цеховым правилам свою работу на звание подмастерья. Затем он, по обычаю ремесленников, пустился в странствование и с котомкой за спиной прошел значительную часть Северной Германии. Конечной же целью его странствования был Берлин, где его брат Арон, к которому он всю жизнь был привязан сильной любовью и уважением, уже обзавелся собственным хозяйством и стал центром кружка интеллигенции и молодых, полных духовных стремлений, еврейских ремесленников.

Арон Бернштейн прошел в Фордоне в раввинской школе трехлетний курс учения, требуемый для подготовки в раввины, но, повидимому, отказался от сдачи специального экзамена на степень раввина. Он успел познакомиться с литературой „Молодой Германии“, которая чрезвычайно увлекла его, и мысль о призвании проповедника стала для него чуждой. Его потянуло стать писателем,—работать для торжества новых

идей. И вот он прежде всего вернулся в Данциг и там стал подыскивать себе занятие, которое соответствовало бы его духовным запросам. Но былой ганзейский город такого ему предоставить не мог, и двадцатилетним юношей он переселился около 1832 г. в Берлин, который все-таки был уже духовным центром. Там он познакомился с литературными величинами того времени, которые,—как например Адальберт Шамиссо, Виллибальд-Алексис Геринг, Ф. В. Губитц и другие,— очень скоро заметили его дарования, всячески ободряли его и оказывали содействие. Его работы появились в „Gesellschafter“ („Общественник“) Губитца и в „Freimütiger“ („Искренний“) Алексиса и охотно читались. Но гонорар в этих журналах был еще очень скуден, и долгое время Арон Бернштейн жил вчетвером с тремя сверстниками в мансарде, куда можно было проникнуть не иначе, как сильно стукнувшись головой о притолоку. Только когда он стал у Губитца постоянным сотрудником, его положение улучшилось настолько, что он мог решиться вступить в брак. Его околдовала племянница его квартирной хозяйки, прелестное, жизнерадостное, как и он, существо, трудолюбивая, сообразительная, воплощенное радушие.

Этот брак оказался для Арона Бернштейна необычайно счастливым. Благодаря прекрасному, сердечному тону, царившему в доме, он стал притягательнейшим центром все растущего круга друзей. Сохранившиеся письма последних к третьим лицам описывают в сильнейших выражениях приветливость и доброту Каролины Бернштейн. Несмотря на все еще очень скромные доходы мужа, молодая жена сумела разумным ведением хозяйства поставить последнее так, что Арон Бернштейн мог держать „открытый дом“ и помогать кому надо в нужде.

Так обстояли дела у старшего брата, когда отец около 1838 г. пришел в Берлин и там достал работу по своему ремеслу жестяника. Понятно, не проходило ни одного воскресенья, чтобы он не был в гостях у брата, да и в будни он часто появлялся у него. Но едва прошел год, как вдруг некое начальственное распоряжение явилось угрозой для этих идиллических отношений.

Это происшествие и его исход довольно характерны для условий жизни в Германии в предмартовское время. В один „прекрасный“ день моего отца вызывают в берлинскую ратушу, где и заявляют, что он должен оставить Берлин в течение нескольких дней. Согласно распоряжению свыше, евреи, не имеющие в Берлине постоянной оседлости, не могут оставаться здесь больше одного года. Он должен, следовательно, покинуть Берлин.

Отца это требование поразило как громом. Как ни был он крепок, он почувствовал себя близким к обмороку. Он

побледнел и только в состоянии был сдавленным голосом произнести: „о, боже“.

„Вот-те на. С вами творится, точно Вас собираются повесить“, захотел ободрить его чиновник.—„Ведь это даже не то, что ногу сломать“.

„Вам это хорошо говорить“, ответил жалобно отец. „Здесь в Берлине живет мой старший брат с женой и детьми. Мы очень любим друг друга, а теперь вот я должен уехать. Неужели нет возможности обойти это распоряжение?“.

„Нет“, ответил чиновник.—„Закон есть закон, изменить мы ничего не можем“.

У отца выступили слезы на глазах, и чиновника взяло сострадание. „Не следует так мрачно смотреть на дело“, продолжал он.—„Вы выходите из города через одни ворота, чиновник делает отметку, а спустя некоторое время вы возвращаетесь обратно через другие ворота, и никому до этого дела нет. Это не так уж точно контролируется“. И, лукаво улыбаясь, он прибавил: „И вовсе не нужно, чтобы в промежутке прошло много времени“.

Теперь отец понял, что ему делать. Вне себя от радости, он рассыпался в благодарности пред чиновником и ушел восвояси.

Год спустя жена приятеля моего дяди—ее муж, учитель по фамилии Горович, был учредителем и заведующим школой для еврейских мальчиков—ввела в дом Бернштейнов свою подругу, Иоганну Розенберг. В последнюю влюбился мой отец, об'яснился и получил согласие. Небольшая сумма, полученная ею от семьи в качестве приданого, дала ему возможность устроиться на постоянное жительство в качестве мастера и обзавестись собственным скромным хозяйством. Так состоялся брачный союз, которому обязано своим существованием многочисленное потомство и в том числе—ваш покорный слуга.

⋆

Это потомство было единственным богатством, которого добился мой отец. Знал он свое ремесло основательно, но, помимо этого, для самостоятельного ведения дела у него было мало данных. Он плохо рассчитывал и свои финансы, и свое время. Огромное количество последнего он тратил на чтение—и когда мастер не в мастерской,—нечего спрашивать и с подмастерьев. На третьем году его семейной жизни обанкротился и сбежал подрядчик, для которого мой отец выполнял жестяные работы; тогда отец лишился всяких средств. Пришлось подумать о другой специальности. После нескольких попыток он выбрал железнодорожную профессию. В ту пору, когда железные дороги были еще новостью,—дело происходило

в мае 1843 г.,—многие не решались браться за эту работу. Он обратился в правление только что открытой Берлин—Ангальтской железной дороги, добиваясь должности машиниста. В короткое время он прошел необходимую подготовку в должности кочегара и затем прослужил в этом обществе тридцать лет машинистом.

Насколько он не годился в мастера, настолько же он был на своем месте как служащий. Здесь, где у него были определенные служебные часы, он отличался выдающейся исполнительностью в отношении своих обязанностей. За тридцать лет работы машинистом он ни разу не пропустил службы, ни разу не сказался больным и только однажды получил чрезвычайный отпуск на несколько дней. О праве на ежегодный отпуск тогда еще и речи не было. Сознание ответственности своей профессии пред пассажирами было так сильно у отца, что соответствующие предписания устава казались ему еще недостаточно строгими. При этом он был добрым товарищем для сослуживцев, и его очень любили за жизнерадостность и готовность помочь.

Один случай, относящийся собственно к дальнейшему, произвел на меня в свое время глубокое впечатление.

Любимейшим праздником моего отца, как и других членов семьи, был сочельник, который мы праздновали по немецкому обычаю. Дорогих подарков, конечно, не было,—для этого доход машиниста, при изобилии детей, был недостаточен. Младшие получали дешевенькие игрушки, старшие—большею частью такие вещи, как учебные приборы и тому подобные предметы, которые им все равно были необходимы в школе, и вместе с тем еще какую-нибудь забавную вещь, которую сам же отец заранее мастерил на стоявшем в углу спальни станке, под предлогом, что это предназначено для детей такого-то сослуживца. Кто умел читать, получал также одну из тех рождественских книжек, которые получал дядя на рецензию. Таким образом здесь не была исключена возможность неожиданного сюрприза, и мысль об этом давала достаточно пищи для напряженного ожидания. Но главную прелесть составляло устройство и украшение елки, в чем принимали участие все, кроме крошек. С начала до конца все делалось у нас дома. Елку привозил отец из своего рейса, во время которого он на какой-нибудь станции успевал за пару грошей сторговать ее в совершенно неотделанном виде. В надлежащий вид приводил он елку сам, обстругав ее своим инструментом. Собственного изделия была подпорка для елки; собственного изготовления были длинные стержни с жестяными кружочками, куда вставлялись елочные свечи; собственной фабрикации были, разумеется, и украшения, которыми обвешивали дерево. Их изготовление при помощи ножниц и клея поручалось детям в

возрасте от десяти до четырнадцати лет, что было большой радостью; украшение елки лежало на старших сестрах. Для той же цели служили также несколько штук хороших бонбоньерок, которые после праздника снова заботливо снимались и передавались в наследие следующему году. Наконец еще развешивались дешевенькие пряники, которые, при разграблении елки, детям разрешалось уничтожать, так же как и яблоки, развешанные на елке.

Когда затем в сочельник родители в первый комнате навешивали подарки, мы, дети, собравшись в спальне, не зажигая света, в темноте, пели народные рождественские песни, между которыми, с тех пор как я уже имел голос в нашем кругу, неизменно должна была повторяться глубоко запавшая мне в душу „Stille Nacht, heilige Nacht“. Ведь если я не молился Иисусу, все же я не сомневался, что он жил и страдал, и я испытывал к нему величайшее сострадание.

И как поднималось праздничное настроение, когда открывалась дверь в переднюю комнату и перед нашими глазами появлялась рождественская елка с зажженными свечами. В то время, когда для комнатного освещения не знали ни электричества, ни газа, ни даже керосина, удивительно ярко действовало освещение рождественской елки. На душу действительно веяло святостью.

Так было у нас и в сочельник 1862 г. Раздача подарков только что кончилась; мы, дети, были заняты полученными сюрпризами; мать прикрепляла свежие белые занавески, которые, при свете еще горевшей елки, еще более усиливали праздничный вид комнаты, а отец, которому процесс распределения подарков, как всегда, доставил детскую радость, только что уселся поудобнее у стола, чтобы понаблюдать за забавами детей. Вдруг раздается стук в дверь, и на приглашение войти появляется сын сослуживца моего отца и выкладывает: „Господин Бернштейн, мой отец просит вас заменить его сегодня на ночном поезде: он отморозил себе палец“.

Что отец согласился на просьбу, это я еще мог понять, хотя это было немалой жертвой. Дело в том, что 25 декабря был день его рождения. В этот день, на ряду с другими гостями, обыкновенно являлся к нам со своими детьми его брат Арон, больше чем когда-либо им почитаемый, и всегда бывало весело и уютно. Однако, тот факт, что отец не проявил и тени неудовольствия при этом предложении, никак не укладывался в моей голове. Но так оно было. Не сделав ни малейшей попытки к возражению, он поднялся, шагнул в угол, где висел его полушубок, накинул его на себя, поцеловал мать, пожелал детям покойной ночи и исчез во тьме морозной зимней ночи.

Вообще, много говорить о себе было не в его привычках. Когда я в 1901 г., после двадцати двухлетнего отсутствия из Германии, снова ступил на ее землю, в газетах промелькнула заметка о том, что мой отец спас однажды жизнь Вильгельму I, тогда еще только прусскому королю. Дело было, судя по газетам, так, что ни настояния придворных, ни приказания начальника дороги не могли заставить моего отца двинуться с поездом, в котором находился король, с той станции, на которой стоял поезд. Он заявил, что ему точно известно, что навстречу находится в пути другой поезд, и он поступил бы противно долгу, если бы, как этого требуют придворные, двинулся навстречу ему с курьерской скоростью прежде, чем тот прибудет на станцию. И действительно, скоро прибыл пыхтя тот поезд по единственной колее, которая только и имелась на этой дороге. Когда меня спрашивали, действительно ли так произошел этот случай, я мог только ответить, что никогда об этом от отца ничего не слышал. Насколько мне известен его образ мыслей, я считаю, что для него, как для всякого способного отвечать за себя машиниста, его действия были слишком естественны, чтобы подымать из-за этого шум. Ведь я только при просмотре его бумаг узнал, что в трех случаях когда у него, по чужой вине, действительно произошли крушения, дирекция в особых удостоверениях выразила ему благодарность за проявленные при этом находчивость и самообладание, благодаря чему он избег большего несчастья. И еще: он никогда не носил ордена, пожалованного ему в 1865 г. на орденском празднике по ходатайству дирекции общества Берлин-Ангальтской железной дороги, никогда не нацеплял заменяющей орден ленточки.

В отношении физических удовольствий он также был совершенно не притязателен. Если в области питья он не отказывался от стакана пива, зато подвыпившим я его никогда не видел. Этому обстоятельству, пожалуй, я должен себя считать обязанным тем, что еще много лет после того как вышел из детского возраста, я делал огромный крюк, чтобы обойти дорогою пьяного встречного. Так отталкивающе действовал на меня вид пьяного и спиртной запах, которым несет от алкоголика.

Когда в 1874 г. исполнилось тридцатилетие службы отца в должности машиниста, он выхлопотал себе пенсию и занял место управляющего группой домов в северной части Берлина, которые заключали в себе свыше 120 квартир, сдававшихся в наем с'емщикам с пролетарскими доходами. Но мучимый ревматизмом, нажитым на прежней работе, он не справился с задачей—держать в узде эту бурлящую массу людей и вытягивать у них квартирную плату; поэтому он скоро должен был отказаться от этой службы. Затем присоединилась к его бо-

лезни еще и астма, и в декабре 1884 г. он скончался от особенно тяжелого ее приступа.

★

Он пережил мою мать на шестнадцать лет. Уже 8 июня 1868 г. она закрыла глаза навеки. Жизнь сложилась для нее гораздо тяжелее, чем для отца. Она была слабее его физически, между тем работать ей приходилось не меньше; несравненно больше него она страдала от житейских лишений и жертвовала собою для детей. До крайности забывая о себе, она не обладала той душевной ясностью, которая всегда позволяла ему переносить снова и снова всплывавшие величайшие заботы; она же, от природы духовно одаренная, под тяжестью этих забот мало-по-малу зачахла.

Она рано осиротела. Иоганна Розенберг родилась в 1820 г. в Гальберштате, на четвертом году жизни потеряла отца, а на десятом лишилась и матери. В то время как старшие из оставшихся сирот уже вступили в борьбу за существование, она, как и некоторые из ее сестер, нашла приют у родственников. Но моей матери пришлось хуже всех, если не считать одного ее брата, который пустился в свет подмастерьем и пропал без вести. Она попала в Магдебург к своему дяде, человеку не злому, но слабому. Он спокойно относился к тому, что его жена обращалась с запуганной девочкой бесцеремонно, как с бесправным существом. Прежде всего девочке было заявлено, что ее школьным занятиям настал конец. „Ты умеешь читать и писать и немного считать,—больше девушке не требуется“, такова была мотивировка, когда у девочки от этого заявления, сделанного далеко не нежным тоном, выступили на глазах слезы. И вот дело свелось к тому, чтобы с раннего утра до позднего вечера выполнять всевозможные подсобные работы по домашнему хозяйству и по лавке у дяди. Моя мать переносила бы эту жизнь спокойно,—ведь о правах детей на защиту от эксплоатации она и не подозревала,—но бранчливость и придирчивость тетки превращала ее жизнь в ад. Насколько эти качества тетки были невыносимы, показывает случай, который имел место на шестнадцатом году жизни моей матери и положил конец ее пребыванию у этой женщины. Однажды утром она вышла из лавки в свою спальню, чтобы заплести свои очень длинные волосы. Только что она приступила к этому, как звонкий крик тетки вызвал ее обратно в лавку. Покупатель требовал чего-то, что надо было снять с высокой полки. Она быстро кое-как свернула свои волосы, бросилась в лавку, схватила лесенку и достала, что требовалось. Но, спускаясь вниз, она оступилась, косы выбились и распустились, и моя мать застыла в страхе, окутанная почти до ног упавшими шелковистыми черными волосами. Покупа-

тель рассыпался в выражениях удивления; но едва он оставил лавку, как тетка схватила ножницы, вцепилась в волосы матери и коротко обрезала их вокруг всей головы. Какие чувства обуревали потерпевшую такое насилие, не стану описывать, но когда к вечеру того же дня к ней пришла в гости младшая—на два года—сестра, то при виде матери она закричала от ужаса и настояла на том, чтобы та немедленно оставила теткин дом. „Ни одного часа ты не должна оставаться у этого дракона“, неумолчно твердила она и, благодаря своей настойчивости, добилась того, что моя мать действительно собрала свой скарб и пошла вместе с ней к родственникам, у которых та имела приют, и на первое время осталась там.

В ближайший затем ряд лет жизнь ее сложилась значительно лучше. Занимавшие хорошее положение берлинские родственники нашли для нее место компаньонки у состоятельной жены банкира, которая жила с мужем в Берлине на Unter den Linden, в прекрасной квартире. Хотя эта чета Бамбергер отличалась некоторыми странностями, которые доставили бы автору комедий материал для веселых сценок, но все же это были добродушные люди, с которыми можно было жить.

Госпожа Бамбергер получила некоторое образование, достаточное для того, чтобы принимать участие в салонных разговорах зажиточных элементов тогдашней еврейской буржуазии, но это не избавило ее от пошлостей еврейского мещанства того времени. Находясь, например, в одном из королевских театров, где она вместе с моей матерью обыкновенно сидела в первом ряду среди представителей прусской феодальной знати, она, ничтоже сумняшеся, могла вдруг довольно громко обратиться к матери с вопросом: „Скажи-ка, Ганнушка, не знаешь ли ты, как по кошерному приготовляется гусиная печенка?“ С другой стороны, она считала дурным тоном высидеть в театре до конца пьесы, и внезапно подымалась и направлялась к выходу, когда представление заметно приближалось к концу. Эта манера иногда порядком возмущала ближайших соседей и вызывала комментарии, от которых у молодой ее спутницы краска приливала к лицу. Другая менее неприятная привычка приводила к сценам вроде следующей:

Одиннадцать часов утра. Фрау Бамбергер сидит за фортепиано и сама себе аккомпанирует, разучивая арию. Является кухарка с вопросом.

Кухарка: „Фрау Бамбергер, какую же приправу сделать к тушеному жаркому?“

Фрау Бамбергер (спокойно продолжает играть и, равномерно покачивая головой, напевает на мотив арии):—Кухарка, сварите репу, сварите репу, репу сварите, сварите репу, белую репу“.

Кухарка: Но, фрау Бамбергер, уже 11 часов, я ведь уже не успею к обеду разварить ее.

Фрау Бамбергер (попрежнему): Ну так варите, что хотите, ну, так варите, что хотите, что хотите, что хотите, варите, варите, что хотите...

И так дальше, пока кухарка не уходит, еле сдерживая смех.

Что касается главы дома, то он отличался рассеянностью, в которой мог соперничать со своим знаменитым современником, историком церкви Неандером, вошедшим тогда в поговорку за это свое свойство. Рассеянность его приводила к бесчисленным комическим эпизодам. Можно привести здесь один такой случай.

Дело происходит зимою, в послеобеденную пору. Чета Бамбергер обсуждает вопрос, поехать ли куда или остаться дома. Она—за то, чтобы поехать,—небо так прекрасно и ясно; он—за то, чтобы остаться дома. Решено: „Ce que femme veut, Dieu veut" (если женщина захочет, то поставит на своем),—поехали. Дорогою в карете герр Бамбергер впадает в мечтательную задумчивость. Вдруг он замечает чрез окно кареты, что с неба падают снежные хлопья. Он обращается к жене с возгласом: „Видишь, Берточка, снег идет. А ведь хорошо, что мы остались дома!"

О рассеянности Неандера свидетельствует огромное число происшествий, описанных в изданных о нем трудах. Для сравнения уместно здесь привести случай, который, по моим сведениям, остался неизвестным для широких кругов.

Однажды этот знаменитый ученый пожаловался своему коллеге по юридическому факультету, Эдуарду Гансу, на то, что дорога от его квартиры до университета для него утомительно длинна. Эдуард Ганс пользовался большой славой, как основатель гегельянской научной философии права; к его ученикам принадлежал, между прочим, Карл Маркс. Неандер в разговоре спросил Ганса, который жил недалеко от университета, не может ли он указать ему квартиру поблизости. „Прекрасно",—сказал Ганс,—я присмотрю", и нашел квартиру по вкусу Неандера, на Gendarmenmarkt, в доме, стоявшем на углу Französischen und Markgrafenstrasse, откуда было две минуты ходьбы до Opernplatz, как раз напротив университета. Он уводит Неандера с лекции, чтобы осмотреть квартиру; квартира Неандеру нравится; в цене также сходятся; все, повидимому, в полном порядке, и Неандер в ближайший урочный день переезжает на новую квартиру. Спустя две недели, когда можно было думать, что он уже вполне устроился, Ганс его спрашивает: „Ну, коллега, как вы чувствуете себя на новой квартире?" и, к своему удивлению, получает ответ: „Ах, квартира очень мила, но путь все-таки еще порядочно далекий". На это озадаченный Ганс: „Что? Порядочно далекий?" Неандер (жалобно): „Да, у меня

уходит добрых полчаса“. Ганс (как бы защищаясь): „Но это ведь совершенно невозможно. Даже при медленной ходьбе на этот путь должно уйти пять минут“. Неандер (после некоторого размышления): „Я не думаю, чтобы быстрейший скороход мог успеть за такое время“. Ганс (решительно): „Ну, здесь безусловно что-то не так. Пойдемте, коллега, проверим это на деле“. Ганс берет под руку Неандера, идет с ним к его квартире и говорит: „Ну, коллега, покажите мне, пожалуйста, как вы отсюда до университета умудряетесь потратить полчаса?“ И что же оказывается? Когда Ганс показал Неандеру квартиру, и тот ее нанял, Ганс попросил его пойти с ним к Варнгаген-фон-Энзе, который жил на Mauerstrasse; покончив с визитом, Ганс пошел с ним по направлению Малой Mauerstrasse к улице Unter den Linden, а оттуда вверх к университету. И вот бедный Неандер, вместо того чтобы из дому итти прямым путем в университет, день за днем, погруженный в свои мысли, тащился по окружной дороге мимо дома Варнгагена.

Моя мать слышала рассказ об этом из уст самого Ганса. Он жил холостяком у своей матери, которая приходилась сестрой фрау Бамбергер. Когда моя мать прожила у последней несколько лет, фрау Ганс стала просить свою сестру уступить ее ей. Произошел обмен таким образом, что моя мать перешла компаньонкой к фрау Ганс, а у фрау Бамбергер ее заменила ее младшая сестра. Для нее обмен был выгоден тем, что вращавшееся в доме Гансов общество состояло из более образованных людей, и поэтому разговоры и толки держались на более высоком уровне, чем в доме Бамбергеров. Таким образом молодая девушка имела возможность приобрести некоторые литературные познания и вообще расширить свой умственный кругозор. Моя мать находилась еще в доме Гансов, когда, как уже описано выше, она стала вхожа в семью Арона Бернштейна и там пленила сердце Якова, младшего брата Арона.

„То, что предлагает ей этот подмастерье-жестяник, я тоже еще мог бы ей предложить“,—воскликнул второй сын фрау Ганс, когда узнал об обручении моей матери. Он, очевидно, также увлекался ею, но вследствие ее застенчивости не имел мужества добиваться ее взаимности. По единодушному свидетельству всех, кто ее знал молодой девушкой и молодой женщиной, она была необыкновенной красоты. У нее была стройная фигура, очень правильные черты лица, мягкие, как шелк, блестящие черные волосы, которые вновь отросли с прежней пышностью, а прелесть ее черных глаз усиливалась необыкновенной кротости взглядом. Еще тогда, когда она была матерью более десятка детей, и когда работа и заботы прорезали у нее на лице морщины, соседи по дому говорили мне: „Ваша мать, должно быть, была когда-то очень красива!“ Я не умел

восстановить в своем воображении лицо соответственно возрасту, не мог оценить красоты, которой недоставало юности. Но я настолько находился под чарами ее кротких черт, что охотно верил людям.

Брак моих родителей отличался обильным потомством, следствием чего было то, что скоро у матери не было недостатка и в заботах. Но раньше чем оставить дом Гансов, не лишне будет привести веселую сценку, разыгравшуюся однажды между фрау Ганс и ее кухаркой.

Базарный день. Кухарка после закупок сдает отчет фрау Ганс. При словах: „Рыба (семга)—талер", фрау Ганс прерывает ее: „Вот видите, теперь я таки вас накрыла, вы меня обманываете". Кухарка (вызывающим тоном): „Что? Я обманываю?" Фрау Ганс: „Конечно, вы обманываете, вы не заплатили талера, а всего только двадцать зильбергрошей". Кухарка (нисколько не испугавшись): „Так я заплатила только двадцать зильбергрошей? Да откуда вы это знаете?" Фрау Ганс: „Я стояла сзади вас и видела, как вы заплатили только двадцать зильбергрошей". Кухарка: „Значит, вы стояли сзади меня? Ну, так вы должны были также слышать, сколько запросила торговка". Фрау Ганс: „Конечно, я это слышала, она потребовала талер, но вы ей заплатили только двадцать зильбергрошей, а десять вы выторговали у нее". Кухарка (с торжеством): „Ну, да, но если я торгуюсь, то делаю это для себя, а не для богатой фрау Ганс!"

Оправдание это, конечно, не устояло бы ни пред каким судом. Фрау Ганс все же обладала достаточным юмором, чтобы удовлетвориться в данном случае примитивным правотолкованием кухарки и ограничиться предостережением на будущее время.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Если бы все дети, которых моя бедная мать произвела на свет,—а она считала грехом всякие средства против деторождения,—дожили до зрелого возраста, то нас было бы всех пятнадцать. Но пятеро из них были заодно с лессинговым „премудрым сынком" и покинули нашу юдоль печали раньше, чем вышли из грудного возраста. Из оставшихся в живых десяти я был пятым. Два брата и две сестры были старше меня. О них дают некоторое понятие следующие стишки, которые состряпал ближайший мне по возрасту из этих двух братьев, когда ему было около десяти лет:

Адольф наш—художник,
Макс просто лишь хвастун,
Фанни—нянюшка „баю"!
Клерхен—кошечка—„мяу"!

Адольф, самый старший, был не особенно крепкого здоровья и не чувствовал поэтому большой склонности возиться с уличными ребятами. Одаренный недюжинными способностями к рисованию, он предпочитал отдаваться этому влечению в комнате и таким образом получил прозвище „художника“. Это был тихий и прилежный мальчик. Попавши в учение к какому-то оптовику, он изводился от работы в такой степени, какая была непосильна для его слабого здоровья. И здесь перед ним виноват мой отец тем, что частью по беззаботности, частью же по своим понятиям о правах хозяина, допустил такую эксплоатацию сына. Несмотря на вполне правильный образ жизни и на старания в более зрелом возрасте закалить здоровье гимнастикой, моему брату не удалось совершенно изгладить следы этого истощения. После трудовой и полной забот жизни, во время которой он проявил много заботливости об образовании и устройстве своих младших братьев и сестер, этот истинно добрый, готовый на самопожертвование человек, умер от мучительной болезни легких в возрасте едва за пятьдесят лет.

★

Не менее печальным был конец Макса, который был на два года моложе его. Со своим здоровым юмором, он, конечно, имел право сам назвать себя в детские годы „хвастуном“. Крепко сложенный, как наш отец, и живого характера, он был почти всегда первым в гимнастике и игре, а равно и в школьных занятиях, и всегда старался превзойти других во всем этом. Так, однажды он в десятилетнем возрасте, просто из задора, спрыгнул с крыши довольно высокого надворного флигеля и получил от этого грыжу, которая заставила его всю жизнь носить бандаж. Многое сделали его учителя для усиления его самомнения. Не раз говорили они ему пред целым классом, что он создан для чего-нибудь порядочного, что он должен поэтому учиться дальше. Ничего удивительного, что это запечатлелось в душе у высоко заносившегося в своих мечтах мальчика, и он был глубоко задет, когда по окончании высшей детской школы для него намечена была профессия купца. Так как у родителей не было средств для его дальнейшего образования, то один близкий родственник согласился принять его к себе для обучения делу с полным содержанием на время учения. У него в Магдебурге на тогдашней главной улице,— Breiter Weg,—имелся магазин готового платья, и дело процветало. Если бы мой брат удовлетворился этой профессией, то он не мог бы найти лучших условий для изучения ее, чем у этого родственника. Истинно деловой человек, он, правда, был в деле строг, но от этого не становился бессердечным,

а был по-человечески вполне доброжелателен к брату; и жена его, старшая сестра моей матери, отнеслась к юноше с величайшей любовью и вниманием. К нему относились совсем как к собственному сыну, и так как в доме царил в лучшем смысле слова избранный тон, то он мог там удовлетворить также свои духовные и эстетические потребности. Но на озлобленное настроение моего брата никакого действия не оказывали все признаки внимания. Он открыто не выражал жалоб и исполнял свои обязанности по делу. Но дома он держался молчаливо и после ужина сейчас же удалялся в отведенную ему комнату. Чем он там занимался, выяснилось только тогда, когда он почти уже закончил срок учения.

Однажды, когда дядя раньше обыкновенного спустился в магазин, входит туда почтальон и возвещает: „Письмо для герра Артура Штейн“. „Здесь нет никакого Артура Штейна“, бросил дядя в ответ. Тут отзывается мой брат: „Письмо ко мне“.—„Что? к тебе?“ возразил мой дядя. „Ты получаешь письма под фальшивым именем? Ну, мы это расследуем (к письмоносцу)—дайте мне письмо! Брат выступил вперед с протестом: „Письмо адресовано ко мне“! На это дядя: „Возможно, что так, и тогда ты его и получишь. Но я должен сперва его прочесть, это мой долг пред твоими родителями“.

Он берет у почтальона письмо, вскрывает его и принимается за чтение, уверенный, очевидно, в том, что пред ним любовное послание или что-то в этом роде. Но каково было его удивление, когда он натолкнулся на подпись тогда очень видного историка немецкой литературы. Эмиль Паллеске, много читаемый биограф Шиллера, писал „герру Артуру Штейну“, т.-е. брату, по поводу присланных ему стихов,—и по характеру письма было видно, что это не первое, которым он обменялся с братом. Открылось, что мой брат отдался поэзии и критике поэтических произведений, пересылал плоды своего творчества видным писателям для отзыва, а они в ответных письмах сильно поощряли его к дальнейшим работам. Некоторые из его стихотворений уже появились даже в печати. Так, в Pester Lloyd под его псевдонимом было тогда, т.-е. в 1863 г., напечатано его стихотворение „Орфей“, которое я еще помню. Уже первая строка выдает последователя Шиллера.

Сквозь фракийские дубравы
С лирой шествует Орфей.
Камень пению внимает,
Шелест листьев замирает,
Прекратился бег зверей.
Он свои страстные муки
Лечит лирною игрой,
И природа ловит звуки
Музыки священной той.

Дядя сообщил об этом в Берлин, и этот случай был обсужден в тесном семейном кругу. Стало ясно, что с братом поступили несправедливо, что необходимо отдать должное его способностям. Но что же теперь делать? Самый разумный совет дала, несомненно, моя мать, которая при всей любви к детям умела относиться к ним критически: „Макс—с дарованиями, но он не гений“, заявила она,—она не раз помогала ему в его школьных сочинениях. Было бы, по ее мнению, вероятно, лучше всего послать его в гимназию, чтобы он прошел правильный курс занятий. Но это было совсем не по вкусу моему брату. Мысль о том, что ему придется сидеть на школьной скамье вместе с ребятами на много моложе его, приводила его в ужас. Он считал, что, занимаясь сам, он может подготовиться к университетскому экзамену гораздо скорее, чем подвигаясь из класса в класс. В этом своем мнении он нашел поддержку у нашего дяди Арона Бернштейна. В своих „Воспоминаниях об отцовском доме“, вышедших в 1913 г., сын Арона Бернштейна, физиолог и многолетний ректор университета в Галле, Юлиус Бернштейн, пишет об отце, что он ни во что не ставил формальное прохождение гимназии и в свое время думал, что его сыновья должны, как и он сам это сделал, выработаться самоучкой. Это-то мнение взяло верх, и было решено, что мой брат будет самостоятельно готовиться к университетскому экзамену и в то же время добывать себе средства к жизни частными уроками и литературной работой.

Но этот опыт окончился у моего брата Макса еще менее удачно, чем у младшего брата Юлиуса Бернштейна. У последнего неудача свелась, в сущности, только к потере времени, но он добился цели—специального образования. У моего же брата это привело к полной растрате своих дарований на мелочи. Действительно, он мог временами устроиться в видных домах учителем для детей-школьников, но здесь он только оказывал помощь в школьных занятиях, репетиторствовал, но не давал ничего прочного. То же было и с его рецензиями в литературных изданиях. И много времени потратил он также на посещение, в качестве вольнослушателя, лекций известных университетских преподавателей. Здесь его особенно сильно влекло к таким ученым, как физиолог Дюбуа-Реймон, юристы Гнейст и Гольцендорф, философ Карл Вердер и еще представители других специальных наук. На ряду с этим он, само собою разумеется, занимался языками, математикой, историей и прочими предметами, необходимыми для сдачи экзамена. Как бы то ни было, он приобрел солидные знания, и это было ясно из того, как еще годы спустя, уже душевно-больным, он мастерски умел разбирать Горация. Но его образованию недоставало систематичности, упорядоченности, и из-за

многообразности ему не удалось достигнуть требуемого систематически законченного запаса знаний. С другой стороны, неудовлетворение половой потребности нормальным путем привело к самоистощению, и весною 1870 г. обнаружились признаки умственной ненормальности в форме появлявшейся у него временами мании преследования. Психиатр берлинской больницы, Вестфаль, определил болезнь, как неизлечимое сумасшествие, и таким она действительно оказалась. Еще почти сорок лет прожил бедняга, душевно надломленный, сознавая основной характер своего состояния и все снова обманываясь в нем под влиянием сменявшихся безумных идей и бредовых представлений. Когда ему казалось, что освободился от одной такой идеи, что он может этому радоваться, он уже был крепко в тисках другой такой же. Его существование можно сравнить с сизифовой работой,—борьбой за свободное от навязчивых представлений мышление. Действительно, почти до своего конца он сохранил способность мыслить и писать стихи в пределах тех границ, которые ему ставили сменяющиеся бредовые представления. Еще около 1908 г., когда я однажды был у него, он мне показывал стихотворение ко дню рождения Вильгельма II, состоявшее из 12 строф по 14 строк в каждой. В нем, правда, было много длиннот, но нигде оно по содержанию не грешило против логики. Конечно, приходится оставить нерешенным вопрос, не спрятал ли он от меня,—как это не раз случалось,—другого, одновременно написанного произведения, в котором безумие справляло свои оргии.

Замечательно то, что за многие годы до того, как появилось сумасшествие, материнская любовь с присущей ей проницательностью заметила, что душевные способности сына идут на убыль. Не будучи в состоянии об'яснить это явление, моя мать с огорчением обратила мое внимание на перемены в поведении брата, которые заставляли ее опасаться упадка его душевной энергии. Судьба спасла ее,—она не дожила до катастрофы, которой закончился этот упадок.

★

В домашнем хозяйстве, с ограниченными материальными средствами и с значительным приростом семьи, подрастающему поколению приходится рано принимать участие в домашней работе. Об этом именно мои сестры, за исключением самой младшей, могли бы многое порассказать. Могу только засвидетельствовать, что они на свое участие даже в самых грубых и тяжелых работах,—стирке белья, мытье полов, чистке посуды,— смотрели как на нечто само собою разумеющееся и всегда охотно исполняли их. Старшей из них, Фанни, уже с девяти лет выпало на долю заменять мать в уходе за грудными младенцами, что тогда было значительно сложнее, чем

теперь, так как считалось необходимым пеленать крошек в длинные свивальники и иной раз часами носить их по комнате, затем укачивать их и напевать им, пока не уснут. Она отдавалась этим обязанностям с такой любовью и старанием, что это навело старшего на два года брата, Макса, на мысль дать ей прозвище „нянюшка", на которое она еще долго,—в сущности даже почти всю свою жизнь, — имела полное право. Не было у нас дома, а позже у братьев и сестер, ни одного новорожденного, в уходе за которым она, со всей готовностью, не принимала бы участия. Физически, да и духовно у нее было много отцовского. Как он, русая с голубыми глазами, она в детстве была краснощекой и полной, так что одна соседка, родом из деревни, дала ей прозвище „толстой старостихи". Однако, подростком она вытянулась в стройную девушку, и в семнадцать лет ее скромный характер и голубые глаза, в которых отражалась ее душа, пленили сердце почти вдвое старшего ее человека с твердым характером. Еще раньше чем ей исполнилось восемнадцать лет, она была уже связана брачными узами. Брак этот оказался для обоих чрезвычайно гармоничным, но после десяти лет счастливой совместной жизни он был разбит враждебными ударами судьбы. Для своей неопытной молодой жены мой шурин был в умственном отношении воспитателем. С своей стороны, когда на них обрушились удары судьбы, она с душевной гибкостью твердо держалась рядом с ним, и никакое лишение не могло ее сломить. Благодарная жизни за каждую придорожную травку, она еще в восемьдесят лет проявляла редкую юность души, пока тихая смерть не унесла ее навеки.

★

Сестра Клара или, как ее звали, Клерхен была на два года моложе. Она получила прозвище „Кошечка-мяу", потому что ребенком она при всяком удобном случае заливалась слезами и подымала вой. Впоследствии, однако, на ней оправдалась довольно распространенная народная примета, что из плаксивых детей обыкновенно выходят энергичные люди. С годами „Кошечка-мяу" развилась в очень свежую, деятельную девушку, которая по энергии, прилежанию и любви к порядку служила мне примером, которому я, к сожалению, слишком уж мало следовал. Жизнерадостная и участливая к другим, она уже в школьные годы и позже подростком, готовясь стать молодой девушкой, сделалась центром целого кружка подруг. Особая дружба, связавшая ее с восьмилетнего возраста с почти ее ровесницей, дочерью рассыльного из соседнего дома, пережила не только переезд на другую улицу и другой участок, но и разлуку за океан. Пока мы жили на Ангальтской дороге, где в двойном доме № 12 и № 13 все знали подноготную друг

друга, неразлучность обеих девочек была так известна, что когда мать сестриной подруги кричала из окна своей квартиры своим громким, но нельзя сказать чтобы неприятным голосом, растягивая звуки „И-и-и-да!“,—это для всех было признаком, что Ида Тиде изволит быть у „Бернштейнов“. Обе довочки пользовались также большим уважением. Так, когда они уже были подростками, некоторые безусые парни, обыкновенно преследовавшие других девочек довольно таки злыми стишками, по отношению к ним самое большее, что могли себе позволить, это напевать на так называемом „языке—у“ следующий стишок:

Улибе Удайе
Унде ушне Уракле,—

(этот „язык—у“ образовался путем замены первой гласной в слове—гласной „у“ и перестановкой первой согласной), что в переводе означало:

„Милая Ида (и) прекрасная Клара“.

Эту оценку юнцы, конечно, переняли от своих родителей. Красивые голубые глаза и русые косы Иды не были в этих кругах чем-нибудь необыкновенным. Недаром тогда в одной излюбленной берлинской поговорке сказано о глазах:

Голубые глазки—прелесть,
Да уж очень нам приелись.
Blaue Augen schön [1])
Aber sehr gemeen [2])

Поэтому в Иде Тиде оказался достойным упоминания в песенке только ее милый нрав. Иначе обстояло с блестящими черными волосами и ослепительными темными глазами моей сестры Клары. По всей улице не было им подобных, и они были поэтому предметом удивления для многих в то время, когда еще не существовало нынешнего утонченного антисемитизма.

Сама же Клара была, конечно, сторонницей голубых глаз. Одно часто ею произносимое стихотворение: „Die schwarzen und die blauen Augen“ („Черные и голубые глаза“), в котором сравнивались преимущества каждого рода глаз, заканчивалось следующим выражением:

Черные (очи) рисуют ум, голубые—душу.

А для нее главное была душа. К ее веселости и бойкой находчивости присоединялась глубина чувств, которая, между

---

[1]) По-берлински произносится scheen.

[2]) Т. е. общераспространены, обычны.

прочим, выражалась в необыкновенно развитом чувстве долга. В школе учителя и учительницы ставили ее высоко, как одну из самых прилежных и сообразительных учениц; дома она была для матери неутомимой помощницей, для которой, если нужно было, никакая работа не была слишком тяжелой или слишком грубой. В зимнюю стужу приходилось видеть, как она на дворе синила и развешивала белье. Когда она кончила школу, она принялась за изучение ручного труда, как профессии, и выработалась в искусную вышивальщицу. При этом она не пренебрегала танцами, даже питала к ним особенную слабость. Когда мой самый старший брат взял ее с собой в оперу на „Роберта Дьявола“,—тогда еще очень и очень славившуюся,— конечно, на верхнюю галлерею, так называемый „амфитеатр“,— она по приходе домой восторгалась предо мной не столько пением Изабеллы, которой была Гарриет Випперн с ее кристально-чистым голосом, сколько танцовщицей Еленой, в роли которой тогда выступила, правда, не кто иная, как знаменитая Мария Тальони. В своем роде и сестра моя очень хорошо танцовала. На танцовальных вечерах окружного либерального союза нашего района, куда отец ее часто брал с собой, она принадлежала к числу тех дам, которых наиболее часто приглашали танцовать. Когда и мне уже можно было ходить на эти вечера, мне не раз приходилось, стоя в толпе посетителей, наблюдающих за танцующими, слышать возгласы восхищения ее грацией. Конечно, у нее не было также недостатка в поклонниках. Но между пред'являвшимися ею к ним духовными запросами, с одной стороны, и духовным уровнем большинства посетителей вечеров, с другой—несоответствие было слишком велико, чтобы она могла допустить какое-либо поощрение попыток к сближению. В те же круги общества, где вращались люди, которые могли бы пленить ее своей духовной стороной, она попадала только изредка, да и здесь опять-таки для большинства девушка без приданого была tabu—запретным плодом. Таким образом, для нее было мало надежды на замужество, а это в наших кругах тогда считалось большим несчастием. Когда эта перспектива определенно выяснилась для нее около 1867 г., сестра Фанни и ее муж, жившие в это время в Нью-Йорке, стали звать ее к себе,—там предложение женщин сильно отставало от предложения мужчин. Все члены семьи, в том числе и моя мать, поддержали это приглашение, и она последовала зову. Там, за океаном, желание матери исполнилось. Нашелся там человек, который ввел к себе в дом ее дочь и посвятил ей свою любовь, граничившую с почитанием. Свыше тридцати лет они прожили вместе, и в начале нового столетия скончались оба почти в один день.

★

Из пяти детей, явившихся на свет у моей матери после меня и не покинувших этот бренный мир еще в грудном возрасте, двоих уже нет в живых. Это мои сестры: Элиза, родившаяся в 1853 г., и Каролина—в 1855 г. Два сердечных и очень преданных друг другу существа, они еще молодыми женщинами ушли из жизни. Они были последовательно замужем за одним и тем же мужем, моим другом и партийным товарищем Якобом Бамбергером; в 1874 г. он женился на Элизе, а четыре года после ее смерти, последовавшей в 1875 г., женился на Каролине. По внешности и по внутренним качествам они стояли между собой в таком же соотношении, как старшие сестры Фанни и Клара. Если они и не могли сравниться с последними по характеру, зато они превосходили их своей почти сверхчеловеческой скромностью. Смерть каждой из них в свое время меня сильно потрясла, так как между ними и мной также существовала близкая дружба.

О трех самых младших, двух братьях и сестре, я не могу писать так, как писал о других, потому что они, к счастью, еще живы. Только несколько замечаний о их судьбах будут, кажется, уместны. Леопольд, старший из них, был в детстве точной копией матери и любимцем отца. Склонный ко всякого рода проказам, этот парень вбил себе в голову, не без моего, каюсь, вредного влияния,—стать гимнастом. Настойчивыми упражнениями вместе со своим другом—ровесником—он, во всяком случае, добился таких крупных успехов, что от реального училища, в котором он учился, получено было предложение взять его бумаги из-за его гимнастических фокусов пред классом. „Ваш брат учится очень хорошо, и учителя собственно любят его, но они не могут справиться с ним", об'яснил мне директор, когда я потребовал более точных причин увольнения. Жизнь брата в дальнейшем представляется несколько пестрой. Прошло еще порядочное число лет, пока он не убедился, что для выработки из себя гимнаста-эквилибриста он слишком поздно принялся за это и слишком не систематически вел свою подготовку. Наконец, его изменчивая судьба привела его к деятельности, имевшей некоторое отношение к профессии отца. Благодаря своему знанию языков, которое он успел приобрести, он получил место в справочном бюро крупной английской компании Восточных железных дорог. Затем он долгие годы был представителем крупной лондонской фирмы Кук для дальних путешествий, занимая эту должность в различных более или менее значительных местностях вне Англии, в том числе в городе Ассуан на Ниле, в Египте, где он положил начало изучению арабского и тюркских языков. В настоящее время он является представителем одной из крупнейших пароходных линий в Германии. При его дарованиях и работоспособности он мог бы, конечно, успеть гораздо больше, если бы

у него не было, при его очень правильном образе жизни, необыкновенной скромности в жизненных потребностях.

К той отрасли промышленности, в которой работал отец, относится также профессия, которую избрал себе мой младший брат Рихард. В детстве он перенес всевозможные болезни, которые задержали его физическое и умственное развитие, а в отроческие годы так тяжело болел легкими, что его считали уже погибшим. Но в зрелом возрасте он накопил достаточно сил, чтобы выполнять службы, требующие здоровых мужских сил. Этому, пожалуй, много помогло то, что, начиная со средины девяностых годов прошлого столетия, он поселился сначала в Капланде, а затем в Трансваале. Когда в ту пору над Южной Африкой полился золотой дождь, один зажиточный родственник подбил его поехать туда поискать счастья. Но того, что тот имел в виду, не случилось. Мы, Бернштейны, все, сколько нас есть, не имеем талантов к накоплению богатств. Мой брат ограничился тем, что работал сначала в качестве служащего в укрепленных поселениях (факториях); затем, когда Трансвааль постиг торговый кризис, он поступил на службу в Южно-Африканское общество железных дорог. Во время бурской войны, подучившись предварительно в конной милиции, он служил на стороне буров под начальством Кронье и вместе с ним был взят в плен при Паардеберге. Сначала англичане держали его в плену там же, а затем перевезли на остров Цейлон. После окончания войны он вернулся в Трансвааль. Там он снова поступил на службу Южно-Африканского железнодорожного общества и, то работая в конторе, то в правлении, он постепенно продвинулся до более высоких постов.

Самый младший член нашей семьи, моя сестра Марта, родившаяся в 1865 г, опять-таки представляет собою, как и брат Рихард, „бернштейновский тип“. Ребенком и подростком она отличалась здоровьем и резвостью. После смерти отца, последовавшей в 1884 г., она переехала ко мне в Цюрих, где была для меня любимым товарищем и для моих квартирохозяев очень уважаемой квартиранткой. Затем, после моей женитьбы в 1887 г., сестра Клара пригласила ее к себе в Америку. Там случилось моему любимому другу и единомышленнику, Мозесу Аронсону, быть у сестры Клары, и он познакомился с Мартой, теперь уже взрослой девушкой,— а он знал ее еще в Берлине ребенком,—и он попросил ее руки. Здесь действительно было и есть равенство в социальных воззрениях и в горячем интересе обоих к социалистическому движению, и это содействовало тому, что, несмотря на такое же сильное различие в возрасте, этот брак сохранил до сих пор внутреннюю гармонию.

★

МАЛЕНЬКИЙ, СЛАБЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК

Если перейти теперь к тому отпрыску, описания которого еще нехватает для полноты коллекции десяти братьев и сестер, т.-е. к вашему покорному слуге, то здесь выступает одно качество, о котором я по отношению к себе могу говорить в превосходной степени. Из всех детей, которых моя бедная мать произвела на свет, не исключая и умерших еще в грудном возрасте, я вступил в жизнь самым наислабейшим, по единогласному свидетельству матери, акушерки, врача, таких-то и таких-то родственников и соседей по дому. По всей вероятности, я был семимесячным недоноском и, имея в сильнейшей степени рахит, представлял собою такое жалкое зрелище, что никто не мог обещать мне хотя бы одной недели жизни. На врача Берлин-Ангальтского железнодорожного общества, доктора Гютербок, большой руки оригинала, который у нас был как бы домашним врачом, я в своем жалком виде произвел такое длительное впечатление, что еще годы спустя, когда его приглашали к нам, к заболевшему грудному ребенку, его первый вопрос при взгляде на больного крошку был: „Что это? Все еще этот маленький, слабенький мальчик?“

Последний раз, когда он выпалил этот вопрос, произошел в 1861 г., спустя несколько месяцев после рождения самого младшего брата Рихарда, когда мне, следовательно, было больше 11 лет. Как ни тяжело было на душе у матери возле постели тяжело больного ребенка, но она не могла не ответить с улыбкой: „Нет, господин санитарный советник, тот стоит позади вас“. Дело было в разгаре лета, и я только что прибежал разгоряченным с улицы. Конечно, мое лицо с раскрасневшимися щеками совсем не было похоже на тот облик, который жил в памяти врача. Это, как и вообще тот факт, что я себе позволил остаться в живых, показалось ему неподобающим. Он бросил беглый взгляд на меня и занялся сейчас же своим пациентом, который во всех отношениях представлял кандидата на тот свет. „Не думаю, чтобы имело смысл прописывать ему что-нибудь“, — такими словами он подвел итог своему исследованию больного. Это был удар в сердце матушки, для которой, при всем ее богатстве детьми, каждый больной ребенок был и единственным и самым любимым, Когда врач собрался уходить, она проводила его за дверь на площадку лестницы и там еще раз спросила с дрожью в голосе: „Неужели нет никакой надежды, доктор?“. Он пожал плечами: „Гм, природа, может быть, сумеет помочь“. Затем его взяло сострадание к истомившейся женщине, которая,— ясно видно было,—едва была в силах держаться на ногах, и он продолжал: „Позаботьтесь только о себе, укрепите прежде

всего свое собственное здоровье. Принимайте что-нибудь укрепляющее. Пейте пиво, хорошее баварское пиво". И, сбегая вниз по ступеням, он не переставал своим громким голосом кричать кверху, так что это было слышно на весь дом: „Пиво, пиво, пиво, хорошее баварское пиво, пиво, пиво, пиво, пиво, хорошее баварское пиво"... пока не очутился за дверью на улице.

Было время, когда в медицинском мире народилось мнение, что пиво—тот же хлеб, только что жидкий. Этот взгляд, если не ошибаюсь, долгое время горячо отстаивал лейпцигский врач Карл Эрнст Бок, пользовавшийся большой известностью в широкой публике как автор книги „О здоровом и больном человеке" и других популярных медицинских работ. За близкое сотрудничество в тогдашнем лево-демократическом еженедельнике „Gartenlaube" („Беседка"), его не раз обзывали „Gartenlauben-Bock" (садовый козел). Однако, доктор Гютербок своим советом матери ошибся адресом. Не в том дело, чтобы она сомневалась в правильности того, что пиво—жидкий хлеб. Но настоящее баварское пиво было тогда в Берлине роскошью, которую могли себе позволить только состоятельные люди, и моя мать была меньше всего способна тратить на себя деньги. Напротив, теперь только она еще более отдалась беззаветно уходу, чтобы спасти сына, от которого отказался врач, как она отвоевала и меня от смерти, несмотря на все противоположные предсказания.

Больше всего уверенности в своих предсказаниях о моем близком конце проявили некоторые соседки, а одна из них, истая берлинка, сейчас же нашла в этом утешение. „Да чего уж лучше",—об'явила она на берлинском жаргоне, обсуждая с другими женщинами этот случай,—„пусть господь-бог наш скоренько заберет его снова к себе: с мальчишкой ведь дело не так просто. Недаром же, когда фатер Бернштейн бывал в от'езде, к фрау Бернштейн всегда являлся этот изящный господин, и тогда у них шло веселье и об'ятия, а когда он уходил, так она еще шла за ним на площадку лестницы, еще раз там целовалась с ним, и посмотреть на маленького Эдуарда, так он похож на него,—такой же разрез глаз".

Значит, не только золотушный сморчок, но кроме того еще и незаконнорожденный. Имелось ли какое-нибудь основание для подобного утверждения? Увы! Было еще худшее. Был действительно такой господин, который тогда приходил к матушке,—хотя вовсе не „только", когда отца не было, а бывал и тогда, когда его не было дома. Она каждый раз принимала его с величайшей радостью и при уходе провожала его дальше сеней. И то, что они там еще раз целовались, тоже верно. И некоторого сходства у меня с ним также действительно нельзя было оспаривать. Этот господин назывался Адольф Розенберг и был братом матушки. Незадолго пред тем он переселился в Берлин.

Следовательно, возможно еще и кровосмешение,—чего еще требовать?

Однако, по мере того как я подрастал, все сильнее выяснялось, что хотя в первые годы жизни у меня, казалось, преобладают фамильные черты Розенбергов, все же я прежде всего—Бернштейн. Физически и духовно я становился все более похож на отца и братьев, и все предположения, связанные с посещениями изящного господина, таким образом разбивались самым жалким образом. Но я охотно признаю, что мне не повредило бы, если бы я наследовал некоторые черты дяди Розенберга, как мы, дети, его называли. Он был чрезвычайно способный человек, энергичный в работе, приветливый в обращении и большой добряк, когда дело шло о помощи кому-нибудь. Он получил общее образование в еврейском учебном заведении с пансионом для учащихся в Зеезен (Гарц), соответствовавшем по курсу реальному училищу. Затем он работал по торговой области и выработался настолько, что, приехав в Берлин, имел уже очень хорошие аттестации, так что скоро устроился прекрасно. Впоследствии в личной жизни его постигли, к сожалению, тяжелые удары судьбы, так что он сравнительно рано покинул этот мир.

Что же касается меня самого, то боженька, несмотря на все противоположные предсказания, все же изрядно долго держит меня на земле. Но поскольку вопрос идет о детских годах, я должен прибавить: „не спрашивайте только,—как“. Еще порядочно долго я оставался „маленьким, слабеньким мальчиком“. Значительно дольше года меня, из-за моей слабости, должны были носить в подушечке, и только на четвертом году жизни я мог делать первые попытки к самостоятельному хождению. К ним именно восходят мои первые воспоминания. Я вижу себя в передней комнате; топчусь по полу, а в соседней спальной, куда дверь открыта, моя мать лежит в постели—после родов. Пред нею стоит отец, держит подушечку с новорожденным так высоко, что ребенок—это моя сестра Элиза,—приходит почти в стоячее положение. Моя мать умоляет его: „Оставь, иначе у ребенка получатся кривые ноги“. Не знаю, что ответил отец,—ответ звучал успокоительно. Очевидно, он хотел показать, как здорова крошка, и каких-либо вредных последствий этот опыт действительно не имел. Ребенок в надлежащий срок научился бегать на вполне нормально развитых ножках.

Иначе было с вашим покорным слугой. Здесь я должен упомянуть об упреке, который в свое время навлекла на себя моя мать из-за своей великой жалостливости. Когда я уже мог вообще стоять и бегать, выяснилось, что из-за сильнейшего рахита у меня искривлены ноги, а походка скорее похожа на утиную, чем на походку нормально развитого человеческого

существа. Были разговоры о том, чтобы помочь горю: мне пришлось бы долгое время носить шины на ногах. Но мою мать нельзя было заставить согласиться на это. Она узнала, что ношение шин связано с сильной болью, и не хотела подвергать меня таким болям. Таким образом, она до известной степени пожертвовала моим будущим ради настоящего. У меня не сохранилось какого-либо злого чувства к ней, и тем менее у меня было к тому основания, что мягкость характера, которая заставила ее отклонить мысль о шинах, была в сущности только завершением той безграничной самоотверженности, которой я был обязан тем, что вообще еще остался на этом свете. Но что отказ от такого лечения и последствия этого отказа имели продолжительное влияние на мою дальнейшую жизнь в различных отношениях, этого я не могу скрывать от себя.

Потребовались долгие годы, пока я стал ходить приблизительно нормальной походкой. Совершенно нормальными мои органы передвижения и теперь еще не могут считаться. Сознание этой ненормальности не раз отражалось роковым образом на моем нравственном облике.

★

О своем умственном развитии в первые годы детства я мало могу сказать. В грудном возрасте я был необыкновенно тихим ребенком и еще несколько лет дальше я мало давал себя чувствовать. Целыми часами мог я сам себя занимать, но не думаю, чтобы отсюда можно было притти к заключению об особенной живости, если не относить к последней наклонности к мечтательности. А именно в сильной склонности к ней у меня не было недостатка. Моя умственная деятельность была по преимуществу пассивна; мысль легко появлялась и беспрепятственно сменялась другой; до известной степени это было предоставление себя их игре. У меня был ненормально большой череп, почти такой, как у больных водянкой, но без свойственной им жидкости, так что для мозга было достаточно места для развития. Может быть, этому обстоятельству следует приписать то, что для меня всякое заучивание было игрушкой. Точно я об этом не могу ничего сказать. До весьма почтенного возраста я обладал необыкновенно хорошей памятью, что я, однако, не считаю беспримерным счастьем,— с известной точки зрения вижу в этом скорее вред для умственного развития. Психологически меня никто не наблюдал, и если у меня была такая память, то как раз в области повседневных личных переживаний она обнаруживала слишком много пробелов, чтобы можно было впоследствии дать достоверный отчет о своей деятельности. Я знаю только грубые

факты. Первый факт—тот, что очень рано я стал заучивать наизусть стихи, которые я затем должен был пересказывать почти всем соседям. Так же, должно быть, было и с чтением. Но память сохранила здесь только два момента или две сцены: первый шаг и момент установления некоторой законченности. Случай этот, думаю, типичный, но здесь его уместно привести. Итак:

Первая сцена. Дома, мой брат Макс обращается ко мне: „Эдевард [1]), хочешь учиться читать?"

Я (с огромной радостью): „Да".

Макс: „Ну, так иди-ка сюда". (он берет меня за руку, ставит меня перед кушеткой, кладет на нее раскрытый букварь и показывает на первой странице): „Смотри-ка сюда, вот здесь мальчик (Iunge—иунге) играет в мячи, это „и". А здесь вот он потерял мячи смотрит на землю, не найдется ли он там,— это „э" (земля Erde—эрде). А здесь он плачет, что не может его сейчас найти,—это „о". А вот он его нашел и от радости орет, разинув рот,—это „а". Понял?

Я: „Да".

Макс: „Присмотрись еще раз хорошенько. Вот „и", мальчик играет в мяч; здесь „э", мальчик потерял мяч и смотрит в землю; здесь „о", мальчик не может найти мяча и плачет; и здесь „а", мальчик нашел мяч и разинул рот. Заметь себе все это хорошенько и теперь (переворачивает страницу) найди-ка мне на этой странице все буквы „и" (нашел), на этой „э" (нашел), на этой „о" (нашел), а на этой все „а" (нашел). Так, на сегодня хватит, повтори это сегодня вечером еще раз, как следует, чтобы на завтра это у тебя было твердо. Если ты это хорошо сдашь, мы завтра пойдем дальше".

Вторая сцена. После пасхи 1857 г. Школа. Я принят на летнее полугодие, но стал ходить только несколько дней спустя после начала занятий, и меня посадили на последнюю скамейку. Идет урок чтения. Начиная с первых мест, дети с трудом составляют по слогам простые слова по первой странице букваря. Наконец, доходит очередь до меня, и я нанизываю слова, выпавшие на мою долю, гладко, как по маслу.

Учитель: „О! ты уже дальше нас. Где же ты этому научился?"

Я: „У моего брата."

Учитель: „Можешь ли ты уже читать и целые предложения?"

Я: „Да." Читаю некоторые отрывки так же гладко, и учитель пересаживает меня на вторую скамью.

---

[1]) Так тогда обычно в Берлине говорили вместо Эдуард,—берлинизм Эде стал мне известен уже много позже.

Такие сцены бывали, конечно, и у других детей. Но вот что замечательно: между первой и второй из описанных здесь сцен прошло, как это ясно, полных два года; из многого пережитого и переиспытанного за эти два года изрядное количество еще и теперь достаточно живо у меня в памяти, но там нет воспоминания ни об одном из следующих уроков чтения, которые мне за это время должен был дать мой брат. И я не помню, чтобы с того времени я когда-либо вообще вспоминал о каком-нибудь из этих уроков. Очевидно, они уже очень рано были как бы выметены из памяти,— вероятно, вытеснены многими новыми впечатлениями, которые я получил в первые школьные дни. Так, например, я мог бы еще сейчас без особенных пропусков повторить евангельский рассказ о рождественской ночи, который нам читался в тот день на уроке закона божия,—хотя уже прошли целые поколения с тех пор, как в последний раз я держал в руках книгу, где рассказ этот имеется в той форме изложения.

Наша способность запоминания имеет как-то свои собственные симпатии. В нашем сознании запоминаются вещи, которые нас совершенно не интересуют, а с другой стороны, память бастует в таких случаях, которые мы охотно хотели бы мысленно пережить снова. Поэтому мы можем только отдельными моментами, эпизодически, описать нашу жизнь на основании собственных воспоминаний. Чтобы получить хотя бы сносную, но связную картину, нам приходится прибегать к сообщениям третьих лиц для пополнения пробелов.

Из моего раннего детства мне рассказали следующую сцену:

Вечер, я стою на скамеечке у окна, выглядываю из него и молюсь: „Милый боженька, будь так добр, подари нам одно. У тебя ведь их так много, смотри-ка (показывая)— вот, вот, вот, вот и вот, дай нам одно из них, милый боженька“. На вопрос, о чем это я молюсь, я отвечаю: „Об оконном стекле“. В одной из наружных рам было разбито одно стекло и долго не вставлялось за недостатком средств, и мне захотелось упросить милого боженьку помочь нам. Окна же, на которые я указывал, были не в домах на противоположной стороне улицы,— там еще тогда их и не было, а принадлежали к разбросанным там и сям домам позади садов и полей, которые делались мне видны только когда по вечерам в квартирах зажигались лампы.

Это явление производило на меня впечатление волшебного видения, которое заставляло меня забыть о людях, живших в этих домах.

Конечно, милый боженька оставался глух, и так прошло еще некоторое время, пока не позвали стекольщика вставить новое стекло.

Из этого времени я вспоминаю еще, как мой брат Макс не раз после обеда брал меня под руку и шагал со мною по комнате, в такт повторяя стишок:

После обеда надо стоять,
Или тысячу шагов гулять.

или еще другой стишок:

Левой, правой!
Окорок и сало,
Хлеб и жаркое,—
Вот пища солдат.

Связывал ли он с этой маршировкой желание исправить мою походку, не знаю, но считаю это возможным. Во всяком случае необходимость в этом исправлении была.

Стихи же были не его. Первый стишок был несколько вольным переводом изречения старинной медицины, которое по-латыни гласит:

Post coenam mille stabas passus.
После обеда пройди тысячу шагов.

Второй стишок — действительно довольно распространенная у солдат песенка, которую они ритмически повторяли при своих упражнениях, заменяя его однообразием счет: раз—два, раз—два. Уже за несколько десятилетий до мировой войны песенка, насколько я знаю, совершенно была забыта, да и вообще солдат по существу стал уже другим, более развитым, чем во время моего детства, т.-е. в пятидесятые годы прошлого столетия.—В те годы значительное большинство солдат было из деревни, которая к городской культуре и к политической жизни только в виде исключения имела какие-нибудь заметные отношения. Поэтому в начале второй половины прошлого столетия по всему, что я мог наблюдать и слышать, солдат в большинстве случаев был умственно слепым, и обращение с ним соответствовало его развитию. Когда мне было десять лет, у нас были расквартированы солдаты, и то, чего я тогда навидался, было способно уронить мое мнение о солдатах. Они казались мне скорее вытянувшимися мальчиками, чем созревающими мужчинами. Однако, мое уважение к старшим по возрасту было еще так велико, а критические способности еще так неразвиты, что я из этого никаких выводов не сумел сделать.

Будучи физически несоответственно мал для своего возраста, я и духовно был моложе своих лет. В школьных знаниях я превосходил своих сверстников, но по знанию людей и жизни я, по сравнению с ними, был настоящим ребенком. Это обнаружилось позже по одному случаю, о котором придется еще

рассказать. Здесь—прежде всего еще несколько слов о жизни в родительском доме и об отношениях братьев и сестер между собою.

Когда я достаточно подрос, чтобы начать понимать материальную сторону домашнего хозяйства, существовавшее у нас изобилие детей уже заставляло вести хозяйство чрезвычайно бережливо. Чтобы поддерживать с внешней стороны определенный городской лоск в образе жизни,—прежде всего в одежде и в школе,—приходилось в других отношениях прямо скаредничать и даже совсем отказаться от капельки роскоши, которую время от времени позволяли себе пролетарские семьи. Для театра и народных гуляний денег не было, точно так же как для каникулярных и отпускных поездок. За все тридцать лет службы машинистом мой отец только единственный раз взял отпуск, да и то на несколько дней и для такой цели, которую соединить с путешествием было бы трудно. Для нас, прочих домочадцев, вообще не существовало понятия о каникулярных поездках. За едой, — был ли то обед или завтрак, ужин, — каждый получал на свою долю определенную порцию, которая нередко оставляла желать большего. Я вспоминаю, что когда мне было семь лет, я носился с мечтой получать теперь за обедом семь картофелин, а когда мне станет восемь лет, то— восемь, и так каждый год на одну больше до,—я уже не знаю, до какого числа. Также насчет тех двух ломтиков хлеба, которые я получал на завтрак чуть намазанными маслом, я отстаивал то положение, что они должны быть достаточно толсты, чтобы стоять на боку, и был счастлив, когда они отвечали этому требованию. С другой стороны, я не запомню, чтобы я когда-нибудь наелся так сытно, что не мог бы еще чего-нибудь поесть.

Что касается состава нашей пищи, то картофель, конечно, играл в родительском доме очень большую роль. Так как долгие годы на мою долю выпадала доставка по утрам провизии для обеда, то я в точности осведомлен о составных частях и стоимости обеда. Я покупал обыкновенно у огородника меру картофеля (около 3,4 литра) и на три пфеннига зелени для супа, что составляет 1 зильбергрош 6 пфеннигов; у мясника: 1 фунт говядины и мозговую кость = 4 зильбергроша 3 пфеннига; у бакалейщика — $1/4$ фунта пшеничной или ячменной крупы или рису = 9 пфеннигов. Все вместе стоило 6 зильбергрошей 6 пфеннигов для семьи в среднем из 8-9 душ. Из мяса отец, как кормилец, получал большой кусок, по возможности без костей, что составляло почти треть; остальное делилось между нами поровну довольно точно; отсюда можно вычислить, сколько приходилось на каждого.

Во всяком случае, время от времени отец привозил из провинции огромный, фунтов в двадцать, кусок телятины на

жаркое, который он приобретал задешево—20 пфеннигов за фунт, а то и дешевле. Мать ему указывала, что эта дешевизна—кажущаяся, так как мяса-то, — большею частью эта телятина была совсем молоденькая,—после поджаривания остается очень мало; кроме того, у нас не было кладовки для хранения, и оно поэтому быстро с'едалось. Но у отца был на это готов ответ: „Ах, нужно же человеку когда-нибудь хоть разок хорошо покушать“. В конечном счете большею частью получалось то, что к концу полумесяца в доме у нас вообще не было мяса, и к обеду у нас, кроме картофеля, только был хлебный или какой другой суп.

Для ведения хозяйства отец как раз и не годился. Свою заработную плату он получал пополумесячно; в одну получку шло месячное жалование, в другую—так называемая поверстная плата, т.-е. оплата по числу проделанных за месяц верст во время рейсов. Это разделение на два срока было еще счастьем. Если бы он жалованье и поверстную плату получал вместе, то к концу платежного периода нехватало бы еще больше денег в хозяйстве. Прошу не судить об этом слишком строго. В этом пункте я истый сын своего отца. Только я поступил так: с первого дня женитьбы я передал жене управление нашими финансами и достиг этим блестящих результатов.

Жалованье и поверстная плата обыкновенно выравнивались до мелочи, и именно то и другое сводилось каждое круглым счетом к 30 талерам в месяц.

Возвращаясь к вопросу о питании, мы видим из изложенного выше, что в мои младенческие и детские годы мясо играло весьма подчиненную роль. Так, к завтраку к намазанному хлебу никогда ничего не давалось, к ужину самое большее—несколько ломтиков очень дешевого сыра для накладки. Несмотря на это я, пожалуй, сомневаюсь, следует ли отнести на счет недостаточного мясного питания то, что до двадцатилетнего возраста я был чрезвычайно худым. Из моих братьев и сестер, которые получали мяса не больше моего, некоторые представляли образец полного здоровья.

Один предмет мы долгое время получали в наилучшем виде—это хлеб. Начиная с 1862 г. отец стал заказывать его для нас у крестьян в провинции, и мы получали вкусный и питательный хлеб. Но зато приходилось его забирать с таможенного склада Ангальтской железной дороги, так как в Берлине еще существовала пошлина на ввозимый в город хлеб, помольный налог. Таким образом, с того времени на мне, вместе еще с двумя детьми, лежала обязанность еженедельно тащить со склада шесть хлебов, довольно-таки тяжелых, принимая во внимание численность семьи, а так как тележки не было у нас, то носить их надо было в руках. Три штуки выпадали на мою долю, а при моем маленьком росте просто

охватить их было для меня не легкой задачей. К тому же, начиная с 1863 г., когда мы переехали на Johanniterstrasse, дорога, которую надо было проделать с этими хлебами, стала довольно значительной, так что нам приходилось несколько раз присесть, чтобы справиться с ношей. Но все эти трудности бледнели пред мыслью, как вкусен этот хлеб; он был всегда прекрасно выпечен.

В последние годы нашей жизни на Ангальтской дороге мне выпала на долю еще одна тяжелая обязанность. В доме, где мы проживали, не было нынешних кухонных плит, а стояли еще старомодные очаги с вытяжными трубами над ними. Для приготовления обеда на очаг приходилось ставить треножник, а на него ставился горшок для варки или сковорода для жаркого. Огонь разводился дровами, которые складывались под треножником, а дрова я долгие годы должен был покупать у дровяника распиленными на средней величины поленья и во дворе нашего дома на колоде раскалывать их на более мелкие. Это было не всегда легко для меня, особенно если приходилось колоть буковые дрова, которые изрядно тверды и часто пронизаны неподатливыми сучьями. Однако, эта работа мне ничуть не повредила, а кроме того, я научился различать древесные породы.

Впрочем, и приготовление обеда на очаге было не совсем легким делом. Если дрова были сырые, что нередко бывало из-за дождливых погод, то матери приходилось чуть не разрывать легкие, чтобы поддержать надлежащий огонь. Очаг был порядочно велик, и потому треножник с горшком стояли довольно далеко от варившего, и это значительно затрудняло возню с горшком и его содержимым. Однако мать была очень заботливой поварихой, которая принимала чрезвычайно близко к сердцу свое дело, и у нее все, что подается к столу, должно было быть хорошо приготовлено. Насколько несложны были наши обеды, настолько же вкусно сварены. Я имел достаточно возможности убедиться в этом, когда бывал в гостях у других людей, которые вели хозяйство гораздо менее бережливо, чем мы.

Когда я жил в 1878—79 гг. в Кастаньола возле Лугано, где мы получали к себе домой обеды от сестры местного священника, я попытался однажды убедить ее приготовить мне Minestra (соус с зеленью) так, как я привык в родительском доме. И вот я описал ей как можно точнее все необходимые для этого приготовления, — недаром ведь я часто простаивал возле матери у очага и присматривался к ее возне и приставал к ней с вопросами: как да почему. Она внимательно слушала, и когда я кончил, ни словом не обмолвившись о моей матери, она воскликнула: „Oh, lo vedo, la sua mamma fu una brava“,—„О, я уже вижу, ваша мама была славной женщиной“.

Но часто у моей матери нехватало даже нескольких пфеннигов для кореньев или других необходимых приправ, чтобы приготовить обед так, как она считала нужным.

Это не ускользало от нас, детей. Тесная квартира приводила к тому, что мы знали обо всем, что случалось в пределах домашнего хозяйства.

ТОН И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

Тон, царивший в нашем доме, будучи свободен от жеманства, был вполне таков, как у образованных людей. Не припомню, чтобы я когда-нибудь слышал грубое слово из уст отца, а что касается матери, то о ней нечего и говорить. Отец и мать оба говорили на чистом немецком языке, причем у отца только случайно, а у матери совсем редко примешивалось еврейское выражение,—да и то большею частью только такое, которое вошло в употребление в Берлине даже у нееврейского населения. В основе сохранения чистоты языка вовсе, однако, не лежало стремление отрицать еврейское происхождение. Оно просто вытекало из эстетического чувства. Из своего происхождения мои родители никогда не делали тайны, и при всем уважении к нагорной проповеди они все же ставили еврейскую этику реформированной общины выше христианской. Но они были очень далеки от того, чтобы рассматривать еврейство как особую от немецкой национальность. Мой отец мыслил и чувствовал вполне как немецкий патриот. Так, он охотно пел нам, детям, патриотические песни из времен освободительных войн [1]). Одна из таких песен, воспевающая Nettelbeck'а и защиту Кольберга, начинается следующими стихами:

На свежем Кольбергском лугу
Трам, та-ра-рам!
Жизнь свою уберегу ль?
Трам, та-ра-рам!
Там раздался пушек грохот,
Сеют в поле там горохом,—
Не взойдет он никогда
На свежем Кольбергском лугу.

Другая, с очень чувствительной мелодией, начинается так:

Прощай, невеста, ангел мой,—
Меня зовет кровавый бой.
Ослабевают рабьи узы,
Так прочь же, дерзкие французы,
Немецкий Рейн отдайте нам!
Где ж быть мне нынче, как не там.

---

[1]) Против Наполеона I.

Об этих прусских войнах он вообще разделял общераспространенное мнение, в политическом отношении он чувствовал себя душой и телом пруссаком и немцем. С подобными чувствами выросли и мы, дети. То, что мы евреи, мой самый старший брат узнал только тогда, когда какой-то мальчик на улице крикнул ему: „жид“. „Тогда я ему крикнул в ответ: сам жид“, рассказывал он матери, и был очень несчастлив, когда она ему об‘яснила, что мы действительно евреи. Мы, явившиеся на свет позже, естественно, росли уже с этим сознанием и поэтому более философски относились к этому факту. Об исконной вражде к евреям в народе мы узнали только по насмешкам, которым мы подвергались со стороны подростков. От взрослых жильцов нашего дома мы никогда не слыхали скверного слова о евреях как таковых. Профессия моего отца и то обстоятельство, что мы праздновали воскресенье и не считались с требованиями ортодоксальной еврейской кухни, сближало нас с ними духовно. Но и обратно то же. О каком-либо предубеждении против христиан, как таковых, не могло быть и речи. Там, где мы наталкивались на вражду к евреям, мы смотрели на это как на единичное явление и относили на счет необразованности. Я уже рассказывал об интимной дружбе моей сестры Клары с дочерью почтальона. То, что она была христианкой, никогда не отразилось отрицательно на отношениях между обеими семьями. То же было и с моими друзьями, причем, должен заметить, что я случайно всю свою жизнь имел интимными друзьями только сыновей из христианских семей. О какой-нибудь определенной цели,—например, о выборе с этой точки зрения,—не могло быть и речи у меня. Мне были бы еврейские дети, как дети, в сущности так же милы, как мои христианские друзья, и к одному моему двоюродному брату, однолетке со мной, я был действительно сердечно привязан. Но мы жили слишком далеко друг от друга, чтобы между нами могли развиться настоящие дружественные отношения. В той же части города, где жили родители, евреи были рассеяны так редко, что нужно было бы иметь уж какой-то особенный предрассудок, чтобы заставить меня искать себе друга в этих кругах. Но этого не было ни у моих братьев и сестер, ни у меня. Мы все вращались только в христианском обществе.

Отношения у нас между братьями и сестрами были вообще хорошие. Уже пример, который мы видели в отношениях наших родителей и их братьев и сестер между собою, мог только благотворно действовать на нас в этом направлении. Да и наши собственные характеры благоприятствовали укреплению естественной привязанности. Нельзя сказать, чтобы между нами не было трений и ссор. О том, чтобы в них недостатка не было, позаботились условия нашей жизни: уже

достаточно для этого было нашей скученности и стесненности в материальных средствах. Так, уже рано поутру при умывании возникали затруднения, как удовлетворить всех. Для всех нас была одна умывальная чашка, да и с водой нужно было быть очень экономным. Водопровода еще не было, приходилось доставать воду из колодца во дворе, а в дождь или зимою в сильный мороз не так легко было найти охотника. Поэтому иногда случалось, что для каждого в отдельности нехватало чистой воды для умывания; приходилось двум или трем умываться одной и той же водой. Конечно, каждому хотелось тогда быть первым; к тому же одному надо было поспеть в школу раньше другого. После обеда или вечером снова нелегко было примирить без трений все требования на место за столом для приготовления уроков. Таким образом, поводов к спорам было достаточно, но всегда все кончалось с разрешением спора; о том, чтобы кто-нибудь затаил злобу, не было и речи. Напротив, в других случаях один помогал другому охотно, а между детьми, следовавшими друг за другом по возрасту, образовывалась, при содействии и под влиянием матери, тесная дружба. Из них обоих, отца и матери, нашей воспитательницей была она одна. Отец очень мало занимался воспитательным воздействием на детей; даже наказывать нас он предоставил почти всецело матери. Только единственный раз я потерпел от него телесное наказание, да и то в виде пощечины. Хотя она была честно заслужена, но на меня она так сильно подействовала, что я, всхлипывая, подлез под кровать и несколько часов пролежал там, спрятавшись от всех. Напротив, колотушки, получаемые от матери, которая иной раз не могла справиться без них с оравой детей, никогда не задевали нас, а принимались как нечто само собою разумеющееся, и нисколько не отражались на нашей сильной любви, которую мы к ней питали.

Конечно, колотушки были такого сорта, что от них не было больно, и затем мать никогда не ограничивалась только ими. Вообще она нас укрощала разумными уговорами, которые она умела приправлять убедительными цитатами. Однажды я заупрямился пойти за покупкою осветительного масла; было уже темно, а торговец маслом жил далеко. Мой упорный отказ я основывал на том, что ночью нам ведь не нужен свет. Но она сумела победить мое упрямство, приведя мне стих из „Песни о колоколе“ Шиллера.

Ах, пока мы в упованье
К нам уже летит страданье.

Когда я перешел в старшее отделение третьего класса гимназии [1]), я однажды сделал попытку выставить довод, что

[1]) По нашему счету приблизительно пятой группа.

теперь для меня уже непристойно колоть дрова на дворе, когда со мной в гимназии уже обращаются на „вы". Тогда мать рассказала мне, как однажды мой дядя Арон Бернштейн застал ее больной в постели и пошел для нее за покупками, нанес и нарубил дров, сложил их на очаге, развел огонь и сварил ей какое-то блюдо. Затем она поставила мне вопрос: „Твой дядя очень известный писатель. Если он считал совместимым со своим достоинством все это проделать, то неужели действительно невыносимо для твоей третьеклассной чести наколоть немного дров на дворе?" Я чувствовал себя разбитым и понизил тон.

ПЕРВЫЕ ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ

Если понимать под дружбой отношения взаимного доброжелательства и доверия между людьми, которые проявляются в интимной близости и продолжаются долгое время, то первым моим другом был мальчик, по имени Вильгельм Траллес, сын железнодорожного рабочего, жившего в одном с нами доме, этажом выше. Когда мы с ним познакомились, Вильгельму было около пяти лет от роду; физически он был более развит, чем я, хотя я был почти на год старше, но умственно он немного отставал от меня. Так, он многих слов не умел правильно выговаривать, в том числе и мое имя: вместо Эдуард, или по-берлински Эдевард, он называл меня Эатат. Однажды он устроил мне в присутствии соседей сцену за то, что я съел яблоко, на которое он претендовал, и с комической напыщенностью повторил несколько раз: „Тепя вывет от япока" (тебя вырвет от яблока). Но так как он физически ушел дальше меня, то его умственная отсталость не помешала тому, чтобы мы больше двух лет были хорошими товарищами, пока его родители не переехали из нашего района. На мое развитие он оказал влияние тем, что, благодаря ему, я больше топтался на свежем воздухе, чем если бы был один; а во многих вещах я служил ему своего рода наставником. Из двух его братьев один воспитывался в каком-то заведении и только иногда приходил к родителям; самый же старший брат Адольф был учеником в кондитерской, но умер еще до окончания обучения. Его похороны происходили совсем иначе, чем мы раньше видели. Перед погребением тело было выставлено на два часа в сенях в открытом гробу для прощания. Для нас, детей, это было событие, которое наполняло нас отчасти страхом, отчасти неослабным любопытством. Мы поместились в стороне и наблюдали за выражением лиц людей, подходивших к гробу. Среди них была молодая девушка из нашего дома, которая, плача, наклонилась над умершим и поцеловала его в бледные губы. Потом пришла траурная

колесница, гроб заколотили и поставили на нее, а родственники умершего, его друзья и часть соседей составили похоронную процессию, которая пешком проводила тело на кладбище. Мой брат Макс, присоединившийся к процессии, вернулся после похорон домой в восторженном состоянии. Пока процессия медленно подвигалась вперед, одна женщина из толпы сопровождающих все время угощала их размышлениями о смерти и о бессмертии души. Эти размышления показались Максу и другим слушателям самым глубокомысленным из всего, что они об этом слыхали или читали.

Как и другие дети моего возраста, я остался дома, но впоследствии я не раз ходил на кладбище вместе с Вильгельмом и его матерью, когда они шли туда для ухода за могилой Адольфа. Там мне бросилось в глаза, что могила еще с другими находится в стороне от того места, где вообще происходило погребение. Тогда я на этом особенно не остановился. Уже много лет спустя пришло мне в голову, что семья Траллес, вероятно, принадлежала к какой-нибудь христианской секте, которая наняла у прихожан Троицкой церкви участок кладбища, но имела свои собственные религиозные правила и обычаи. Ими и можно было об'яснить некоторые своеобразные особенности, которые отличали их от других жильцов.

Отца Траллес я редко видел, так как он очень рано уходил по утрам на работу и только поздно возвращался домой. Когда я его видел, он производил на меня впечатление очень спокойного, тихого человека. Полгода спустя после смерти своего старшего сына он выехал из нашего дома в довольно отдаленную от нас часть города и там открыл себе скромную торговлю тряпьем и другими отбросами. Этим переездом он положил конец и нашей дружбе с Вильгельмом. Мы побывали друг у друга несколько раз, а потом сношения прекратились.

Вместо него у меня началась новая дружба, которая несравненно сильнее повлияла на мою духовную жизнь.

★

Дом № 12 на Ангальтской дороге состоял из фасадного корпуса и отдельного флигеля. В последнем жила в партере с правой стороны семья Гернгросс, состоявшая из отца, матери, дочери, тогда еще подростка, и двух мальчиков. Из последних старший Алекс, красивый мальчик с русой курчавой головой, был приблизительно моего возраста и очень скоро, после того как я с ним стал встречаться, стал моим близким другом.

Ему пришлось тогда из-за перелома руки провести несколько недель в постели, и я, пользуясь каникулярным временем, ежедневно проводил у его постели по крайней мере часа два.

Родители были мне за это очень благодарны и еще много лет спустя вспоминали об этом, но с моей стороны здесь не было ни малейшей жертвы. Алекс был плутишкой совершенно в моем вкусе, и мы умели отлично забавляться игрушками, которые ему надарили. Когда он мог встать с постели, я был прекрасно вознагражден за то время, которое я ему посвятил.

К дому прилегал не очень большой, но с добрых 250 кв. метров величиной, сад, который арендовал г-н Герн-гросс—не для удовольствия, а потому, что ему нужны были для целей его профессии два стоявшие там сарая. В этот-то сад, который был закрыт для всех других обитателей дома, а особенно для детей, я имел свободный доступ во всякое время, вместе с Алексом или один. Там я в течение нескольких лет в хорошее время года проводил почти все свободные часы. Умственному развитию это шло скорее во вред, но для физического это было так необходимо и, несомненно, очень полезно. Польза еще увеличилась оттого, что в один прекрасный день братья г-жи Гернгросс, опытные плотники и столяры, соорудили рек (перекладину для гимнастики) и параллели, на которых мы могли проделывать всевозможные гимнастические упражнения. Если мне и не удалось сравняться на этих гимнастических приборах с нормально развитыми детьми одного со мной возраста, то все же, на ряду с упражнениями, где требовалась просто ловкость, я научился кое-каким, где требовалось еще и напряжение мускулов. Однако, значительная часть времени, которое я проводил с Алексом в саду или в другом месте, была потрачена попусту не только с точки зрения умственных занятий, но также и успехов в гимнастике. Виною этому была профессия г-на Гернгросса.

Эта профессия заключалась в содержании помещений для стрельбы в цель (так называемой у нас тир), где стреляли из духовых ружей в правильные мишени, в маленькие гипсовые мишени, в гипсовые трубки, подделанные под голландские курительные трубки, и тому подобные предметы. Смотря по времени года или так называемым сезонам, он держал такие тиры в различных местах Берлина. Весною и летом—преимущественно в большом саду пивоваренного завода против Kreuzberg пред Hallische Tor и в летних садах Геннига на Schausseestrasse пред Oranienburger Tor. В последнем ежегодно летом функционировал специально построенный летний театр. Арендатором и руководителем театра долгие годы был артист Эдуард Майзель, пользовавшийся хорошим именем в театральном мире и всегда умевший также составить хорошую труппу.

При сооружении тира и изготовлении необходимого оборудования играли большую роль слова шиллеровского Вильгельма Телля: „Топор в доме сберегает расходы на плотника“. Самый старший брат г-жи Гернгросс был оружейником и

доставлял духовые ружья и стрелы к ним; братья ее, изучившие плотничье ремесло, возились с устройством декораций и кулис, причем старший из них брал на себя малевание. Гипсовые мишени и гипсовые трубки тоже изготовлялись дома; местом их изготовления служили упомянутые сараи, а в работе принимали участие Алекс и я, сначала как помощники, а позже—как самостоятельные работники.

Изготовлялись мишени следующим образом. На гладко выструганные и слегка натертые маслом продолговатые доски выливалась гипсовая смесь, точный состав которой держался в тайне, как секрет производства, так что в составлении смеси я не принимал участия. Когда вылитая масса слегка подсыхала, с помощью циркуля на досках вырезывались в этой массе различной величины круги для мишеней, и затем для окончательной просушки гипса доски выставлялись по возможности на солнце или же клались на вольном воздухе в наиболее удобном положении, пока мишени не высыхали настолько, что их с некоторыми предосторожностями можно было без ломки снять с доски. После того твердыми буравами в них проделывались дырки достаточной величины, чтобы их можно было легко навешивать на гвозди, вбитые в надлежащих местах. Наконец, чтобы придать мишени надлежащий вид, в центре ее наводили черный кружок помощью кисти и разведенной франкфуртской туши.

Все это были приемы, которые легко было усвоить, требовался только некоторый навык и внимание, чтобы довести потери от ломки до незначительного процента. Навык мы приобрели довольно скоро, но мы должны были бы быть уже не детьми, чтобы не наделать иной раз пропасть лому из-за недостатка внимания. Отделение от доски, пробуравливание и чернение представляли удобнейшие случаи для ломки. Дело в том, что вместо того чтобы отдать все внимание работе, мы, обучившись ей, посвящали значительную долю его бесконечным рассказам, которыми я во время работы развлекал Алекса.

В другом месте я уже упомянул, что для меня сейчас загадка, откуда я тогда мог брать материал для этих рассказов. Хотя я и был книжной крысой, от которой никакой кусок печатной бумаги не был в безопасности, требования Алекса насчет новизны сюжета или положения героев были не очень велики, но дело в том, что с моей начитанностью тогда обстояло все же очень плохо. В родительском доме не было положено даже начала для библиотеки. Все, что у нас было из классиков, сводилось к одному тому Шиллера, где были драмы: „Мария Стюарт“, „Орлеанская дева“ и „Мессинская невеста“, одному тому Гете с его произведениями: „Сродство душ“ и „Годы учения Вильгельма Мейстера“; были еще в школьных учебниках некоторые

стихотворения классиков. И как раз все это по содержанию давало мало материала для рассказов, которые могли интересовать Алекса. Точно также я был незнаком как раз с некоторыми из излюбленнейших тогда знаменитых романов и повестей, имевшихся в обработке для юношества; таковы: „Рассказы о Кожаном Чулке“, „Хижина дяди Тома“, „Граф Монте-Кристо“. Я знал о них и их сюжете, но читать этих книг, которые были бы для моей цели неисчерпаемым источником, мне не приходилось. Я должен был свой материал, так сказать, скраивать из кусков, которые мне удавалось подцепить то здесь, то там, и рисовать себе дальше с помощью фантазии, не скованной никаким знакомством с предметом. Изготовленная мною таким путем смесь должна была, поэтому, противоречить всем правилам поэтического искусства, но своей цели,— держать моего Алекса в напряженном внимании—она достигала вполне. Он часто не мог дождаться момента, когда я брался за двойную работу. Да и сам я не оставался вполне равнодушным к запутанным узорам, создаваемым моей фантазией, в которых подземные ходы большею частью играли значительную роль. Ведь в начале каждого рассказа я сам не знал, куда он поведет нас, и чем кончится история, и поэтому с невольным любопытством я следил за развитием рассказа.

Таким образом те дни, когда Алекс и я работали в качестве неквалифицированных гипсовщиков, были для нас обоих очень приятными днями; я сказал бы, что это почти самые лучшие дни в моей жизни. Все было так гармонично. Мы были большею частью одни в саду за работой; самое большее, что младший брат Алекса Фердинанд, по-берлинскому обычаю называемый Нанте, представлял собою единственного, но благодарного слушателя. Так как сад находился в глубине, то к нам доносились только неопределенные звуки шумного двора, да еще звуки шарманок, которые играли во дворах на улице Wilhelmstrasse; их мелодии достигали к нам чрез сады, которые тогда заполняли сплошь все огромное пространство от Wilhelmstrasse до Ангальтской дороги. Эти звуки и мелодии воспринимались нами с удовольствием, как налаженный аккомпанемент; работа скорее была разнообразием в нашей жизни, чем напряжением,—не должны ли мы были чувствовать себя в высшей степени прекрасно? То, что мы гипсовых мишеней ломали чересчур много, не очень сильно мучило нашу совесть. Ведь мы не намеренно это делали и во всяком случае мы производили полезную работу, так что отец Гернгросс все-таки свое выручал от нее. То, что работа наша, кроме того, не оплачивалась, мы не принимали во внимание,— подобного рода мысли находились вне нашего умственного кругозора. В тех случаях, когда мы от посторонних получали

плату за нашу работу, мы принимали с благодарностью деньги как подарок или как чаевые.

Такие случаи иногда имели место с братом г-на Гернгросса. Он держал тир в заведении Кроля, куда ходила более платежеспособная публика, чем в выше названные сады; поэтому у него были лучшие дела, чем у отца моего друга. Он заказывал своему брату гипсовые мишени для своего тира, и Алексу приходилось их относить; при этом когда это только возможно было, я шел с ним вместе, помогая нести. Большая корзина с гипсовыми штуками была далеко не легка, и дорога туда была очень длинная, так что поистине нельзя считать слишком большой щедростью, если дядя при доставке давал каждому из нас по зильбергрошу. Но для нас это был дар божий, который мы немедленно с упоением превращали у булочника и мясника в съедобные вещи, да еще какие!

То, что мы покупали у булочника, было еще по крайней мере терпимо. Там каждый получал за шесть пфеннигов так называемый шестерной хлебец (т.-е. именно в шесть пфеннигов), выпеченный из грубой муки и менее вкусный, чем трехпфенниговая булочка („троешник“), но зато он имел весу больше, чем вдвое. Но у мясника—не слушай Муза, не гляди, отвернись,—каждый покупал себе кусок некоей снеди, которой официальное название—простая кровяная колбаса, но в народе она большею частью называется собачьей колбасой и покупается преимущественно только для собак. Для ее изготовления,—это конечно, было нам неизвестно,—шли в ход неподдающееся определению количество непродажных частей мяса, кожи и т. п., и все это мелко нарубалось на колоде мясника в одну массу. Только в тяжелой нужде люди могли решаться есть ее. Про нее народный юмор пустил анекдот, ставший излюбленным в массе, про денщика, как он к концу месяца, когда жалование лейтенанта уже растаяло, вломился в мясную лавку и важно потребовал: „На грош собачьей колбасы—для господина лейтенанта!“ Для нас, конечно, определяющим моментом была не нужда,—ведь никто нас не заставлял покупать колбасу, - а та сила, о которой Шекспир выражается в одной из своих военных драм следующим образом: „Солдатские желудки ведь никогда не бездействуют“.

Ребята, если они не изнежены, сходятся в этом отношении с солдатами. Мы, конечно, прекрасно знали, что простая кровяная колбаса приготовляется не из лучшего сорта мяса,—об этом говорило уже ее название. Но мы также знали, что это единственная колбаса, которую можно купить на шесть пфеннигов в таком количестве, что получался порядочный кусок. Поэтому-то мы и покупали себе „Ordinanz“ („ординанц“—испорченное ordinäre—ординарный, простой), как она называлась у нас, ребят, закусывали „шестерным хлебцем“ и ели

ее с известной гордостью именно потому, что знали, что не каждый может ее переварить.

Замечу кстати, что я тем временем перевалил за восемь лет, и хотя я все еще был необыкновенно маленького роста и слаб физически, но все же, переболев на восьмом году корью, я от настоящих болезней совершенно избавился.

Только таким путем я смог использовать ту возможность, которая открылась для меня, благодаря дружбе с семьей Гернгросс, а именно—возможность дарового посещения Майзельского театра.

Кого г-н Гернгросс или замещающий его член семьи брал с собою в летний сад Геннига, у того была возможность насладиться также Майзельским театром, потому что только номерованные места были отгорожены от сада. Таким образом моя сестра Фанни, дружившая со старшей сестрой Алекса Лаурой, уже два раза, при содействии последней, побывала на представлениях в Майзельском театре. Она прожужжала нам о них уши, как вдруг однажды Алекс спросил меня, не соглашусь ли я помочь ему снести в сад Геннига духовые ружья, и тогда я сумею тут же посмотреть на представление. Я согласился без дальних размышлений. То, что я слыхал о театре, не мало подстрекало мое любопытство. Но на это нужно было получить согласие родителей. При поддержке Алекса я изложил им свою просьбу.

Мать отнеслась к ней очень отрицательно. Дорога до сада была порядочная, и нам для ходьбы в один конец нужно было потратить почти добрый час и столько же обратно; представление затягивалось до позднего часа; таким образом, я очень поздно должен был очутиться в постели. Итак, мать стояла за отказ.

Но когда мать говорила „нет“, то отец выступал в защиту „да“. В таких случаях у него стало прямо второй натурой вступаться за противную сторону. „Ах, пусть себе парнишка получит удовольствие“, возразил он, „один раз не беда. Он ведь под присмотром Гернгроссов“.

Что было делать матери? Настаивать после этого довода на своем отказе? Это дало бы нам основание подозревать ее в придирчивости. Таким образом, хотя она осталась при своих возражениях, но в результате уступила. Я получил разрешение пойти.

Этот день еще и сейчас у меня жив в памяти. Столько различных событий того дня запечатлелось у меня. После обеда в тот день мы имели при чудной ясной погоде солнечное затмение, которое мы могли прекрасно наблюдать чрез закопченный осколок стекла. И затем предстоящее посещение театра, которое ведь вообще было для меня недосягаемой вещью. То, что за это счастье я должен был тащить два

духовых ружья, меня не пугало. Пред фантастическими образами, с которыми у меня было связано представление о театре, мысль о реальной тяжести, которую требовалось нести, отступила пока на задний план. Только когда мы уже были в пути, я увидел, что переоценил свои силы. Меня обмануло то, что Алекс, годом моложе меня, уже не раз носил в сад ружья и не жаловался на это. Мне они пришлись порядком солоно. Они давили меня своей тяжестью, и я сгибался под ними чуть не до земли, а дорога стала для меня бесконечным шествием на Голгофу. Алекс, несший на себе тоже два ружья, охотно бы помог мне, но как это сделать? Взять себе три ружья, а мне оставить одно, было бы слишком несправедливо. Короче сказать, мне оставалось довести уже дело до конца, раз я так необдуманно взял его на себя. И с напряжением всех своих нравственных сил, а также с помощью неоднократных передышек для отдыха, мне все же это не удалось. Когда большая часть пути была уже позади, я начал подбадриваться шуточками: после поворота с Инвалидной улицы на Шоссейную я заявил Алексу, что дорога все же для меня слишком длинная и повернул назад, но вместо полуоборота я сделал полный оборот. Очень слабая шутка, однако, она так сильно рассмешила, что мы дальше еще часто проделывали ее оба. Она была сродни тем комедиям, которые дети охотно разыгрывают пред самими собой, чтобы отвлечь себя от какой-нибудь неприятной вещи.

В саду Геннига я скоро отдохнул и мог теперь видеть театральное представление с самого заднего места.

Вначале ставилась одноактная салонная пьеса, носившая название: „Под знаком критики“. Главную роль в ней играла гостья, и эту роль исполняла фрейлен Фур, которая, если не ошибаюсь, была не кто иная, как очень известная артистка королевского театра Лина Фур. Но так как мы не понимали соли намеков, то нам не понравились ни она, ни пьеса, на которую мы с величайшим удовольствием обратили бы ее же название. Впрочем, она заканчивалась тем, что дама,—фрейлен Фур,—очевидно намекая на одну пьесу, о которой шла речь на сцене, сказала окружавшим ее мужчинам: „Назовем ее, мои достоуважаемые господа: „Под знаком критики“.

Совсем иное впечатление произвела на нас вторая пьеса. Это была двухактная злободневная комедия под заглавием: „Последствия Виллафранкского мира“ и разыгрывалась в военном лагере. Можно себе представить, какое это блаженство было для нас. О прелиминарном (предварительном) мире, заключенном 11 июля 1859 г. в городке Виллафранка между Наполеоном III со стороны Франции и Франц-Иосифом со стороны Австрии, и о политическом значении его мы, конечно, почти ничего не знали; не могу также сказать, была ли в пьесе речь

об этом значении, и в каком смысле. Для нас, ребят, довольно было выступления солдат, чтобы создать у нас настроение в пользу пьесы. Она занималась только личными судьбами, как разная там любовь, которые, благодаря заключению мира, разрешались вполне благополучно.

Из артистов нас заинтересовала больше всего одна субретка, которая выступал а в мужской роли, а именно—в качестве слуги у маркитантки. Не игра ее, о которой мы ведь судить не могли, а просто тот факт, что она выступает в костюме мальчика, сейчас же снискало ей наше расположение. В антракте между первым и вторым действием мы побежали к висевшей на садовой стене витрине фотографа, нашли там ее карточку и стали посылать ей воздушные поцелуи. Это первый, но не единственный случай, когда я был влюблен „в компании“ с другими.

Итальянская война была не первой европейской войной при моей жизни. Первой была Крымская война, которую вели с 1854 до 1856 г. Англия, Франция и Турция против России,—т.-е. в такое время, когда о политике и войне я вообще не имел никакого понятия. Спустя уже много времени после ее окончания я видел в окнах магазинов выставленные картины наиболее замечательных сражений из этой войны. Большею частью это была грубая стряпня издательства E. Kühn в Neu Ruppin, наводнившего рынок подобными изделиями. И еще на Johannistisch пред Hallische Tor, где тогда еще была совершенно свободная площадь, была выставлена в большой палатке „панорама“ взятия Севастополя. То, что тогда называлось панорамой, был ряд картин, которые представляли собой каждая какую-нибудь одну сцену крупного события и рассматривались под ряд одна за другой под увеличительными стеклами, установленными стереоскопически. Как ни мало понимал я смысл и цели итальянской войны, но самый факт не остался мне неизвестен. Кое-что я прочел о ней в газете, которую получал отец и в которую он свято верил. Это была „Berliner Volkszeitung“ (Берлинская народная газета), основанная его братом Ароном и снабжаемая им ежедневно передовой статьей; газета пользовалась тогда очень большой славой. К моему огорчению, у нас был компанион по чтению этой газеты в лице старшего сына нашей соседки по площадке, вдовы тов. председателя окружного суда, по фамилии Гинтш. Как только отец прочитывал газету, ее надо было относить к нему, так что я только в исключительных случаях мог ее иметь в руках. Но что при Мадджента и Сольферино были сражения с печальным исходом для Австрии, это я в газете вычитал и еще кое-что слышал от сверстников. Однако к войне я не имел интереса, разве что только легкое любопытство. Мнения берлинской публики о ней были различны. „Volkszeitung“ резко выступила против

бонапартовской Франции, которая стала во главе национального движения итальянцев; этим газета стала на сторону габсбургской, австрийской партии. Но в радикальных кругах было течение, где ненависть против последней была так сильна, что оттесняла на задний план их неприязнь к узурпатору императорской короны Наполеону III. В этих кругах, взгляды которых выражены Фердинандом Лассалем в статье: „Итальянская война и задачи Пруссии“, не было никакого желания петь в тон прусским юнкерам (крупным помещикам), которые, например, клеймили Гарибальди атаманом разбойников за то, что он вмешался в войну с отрядом добровольцев. Для них было ближе к сердцу присоединить свой голос в вдохновенным стихам гарибальдийского гимна, мелодия которого, впрочем, уже начала в Берлине наигрываться шарманками:

Si scopron le tombre, si levano i morti
I martiri nostri son'tutti risorti...

Георг Герве перевел это так;

Die Gräber sind offen, die Toten erstanden,
Die Märtyrer alle in unseren Landen
Sie leben...
Разверзлись гробы, наши мертвые встали,—
Все те, что за родину кровь проливали...

А вот заключительный мощный аккорд:

Va fuori d'Italia, va fuori ch'è l'hora
Va fuori d'Italia, va fuori stranier!
Вон, вон из Италии! Слышишь пришлец!
Оставить наш край наступила пора!

„Пришлец“—это, конечно, австрийский жандарм.

При таком разделении мнений к нам, детям, неизбежно попадали очень противоречивые сообщения насчет войны и создавали среди нас крайне сбивчивые взгляды.

Но это было преходяще. В общем и целом эпоха была либерально-демократической. Когда нельзя было дольше затушевывать душевную болезнь Фридриха Вильгельма IV и явилась необходимость назначить его брата Вильгельма регентом, в Пруссии наступила так называемая „Новая эра“. Как ни мало изменений ввела она в писаную конституцию и в законы Пруссии, но она имела то влияние, что „народ“ заговорил другим языком, и общественные вопросы стали обсуждаться совершенно в другом тоне, чем до того. „В Берлине господствует дерзкий и вольный тон“, писал Карл Маркс, побывав в Берлине у Лассаля в апреле 1861 г.,—в письме к Фридриху Энгельсу, датированном 7 мая того же года. И дальше в том же письме он говорит о куплетах, которые он слышал

в одном берлинском театре и в которых со сцены высмеивался вестфальский депутат фон-Винке, бывший некогда кумиром у либералов. Это полевение политических куплетов я мог заметить уже в Майзельском театре. С того памятного летнего дня 1859 г. я еще чаще тащился с моим другом Алексом на Шоссейную улицу, в большинстве случаев, к счастью, без ружейного груза, и был свидетелем, как у Майзеля политический куплет начинал играть все бо́льшую роль. Следует упомянуть здесь об очень остроумной пародии на оффенбаховского, тогда впервые поставленного в Берлине, „Орфея в аду“. Пародия шла под названием „Орфей в надземном мире“, и в ней директор Майзель играл надземного Орфея, именно,—музыкального булочного мастера, который на маскарадном балу в образе лягушки приударял за надземной Эвридикой и своим кваканьем приводил публику в восторг. Майзель пел там куплеты, припев к которым:—„старое жульничество больше не идет“, уже выдает радикальное направление. Политические сатиры в стихах пел одаренный большим комическим талантом артист Кликерман, выступавший с ними в образе булочного подмастерья. Бесконечные коротенькие политические эпиграммы распевал еще некто в виде пьяного берлинского лавочника, пародирующего оффенбаховского Ганса Стикса. Но на настоящую высоту поднялся у Майзеля политический куплет в водевиле „Пятьсот тысяч чертей“. Авторами его были двое: Якобсон и Салангре, а исполнение его относится уже к разгару парламентского конфликта в Пруссии. Эта пьеса выдержала свыше ста постановок, что было в те времена большой редкостью.

Сам Майзель играл в этом водевиле роль Цербера—слуги у чорта. В комической сцене с чортовой бабушкой, „Петух и курица“, он снова выявил свой большой талант к звукоподражанию и своим чрезвычайно комичным видом петуха вызывал взрывы хохота. С политической стороны он доставил наслаждение публике колыбельной песенкой, которую он напевал, убаюкивая на руках чортова младенца. Некоторые куплеты сохранились у меня в памяти, и я привожу их. Каждый куплет начинался строфой:

Усни, сыночек, милый мой,
Всегда будь прям и чист душой!

после чего следовало нравоучение. Так например:

Усни, сыночек, милый мой,
Всегда будь прям и чист душой!
Ты географию учи,
Чтоб после, „адрес“ получив,
О захолустье даже знать,
И где и как его искать.

Здесь насмешка над тем, что Бисмарк в борьбе против парламента получал адреса почти только из отдаленных деревень.

Другой куплет был направлен против трехлетней военной службы:

Приучайся делать в счет
Вправо, влево поворот!
На плечо! К ноге! Курок!
А не то—трехлетний срок!

В министра исповеданий фон-Миллера, который студентом составил веселую песенку „Выхожу как раз я из пивной", а теперь стал опорой протестантской ортодоксии (правоверия), метил следующий куплет:

Когда выходишь из пивной,
Чуден тогда весь мир земной,
Но песни ты о том не пой:
Как знать, что станется с тобой?

В придворных кругах, впрочем, где знали, что превращение Миллера произошло под сильным влиянием жены, по имени Адельгейда, говорят, ходила тогда шарада:

В Берлине—первые два слога
Не дарят, жалуют же много;
Вертит финансами слог третий,
Культ—целому попался в сети.

Первое и второе (Адель — по-немецки: дворянство). „Третье"—был министр финансов фон дер Гейдт, который, однако, скоро ушел в отставку по подозрению в недопустимых денежных операциях. Это было сейчас же подхвачено куплетом в колыбельной песне Цербера:

Спекулируй с финансами ловко сперва,
А затем отдыхай у Овечьего рва.

Фон дер Гейдт выстроил себе дачу у Ландверканала, окрещенного народом „Овечьим рвом", там, где теперь проходит улица с тем же названием. Поставленные ему в вину незаконные действия были детской шалостью в сравнении с тем, что мы теперь пережили в этой области.

Свержение греческого короля Оттона, принца из дома Виттельсбахов [1]), вызвало следующие стихи:

С баварским пивом не дружить,—
Вот лучший способ долго жить.
Желудком грек на что силен,—
Баварского ж не вынес он.

---

[1]) Правившая тогда в Баварии династия.

И так дальше, до бесконечности. Публика не могла достаточно наслушаться этих куплетов, которые хотя и достаточно отражали на себе цензурный пресс, все же звучали политически-оппозиционно.

Свержение Оттона воспел также в подобной пьесе Людвиг Хронек, впоследствии руководитель Мейнингенской образцовой сцены, достигший признания своих заслуг в истории немецкого театра. Тогда еще молодой комик, он играл младшего сына сатаны „Pipifax der Kleine“ и пел, в кителе и белых штанишках, гарцуя на палочке, специальные куплеты; в числе других политических стихов были следующие:

На Фридрихштрассе кто не знает
Цирк Отто?—Отто в цирке том
Ежевечерне заставляет
Мужчин и дам скакать верхом.
Недавно греки в этом деле
Перевернули все вверх дном
И... Отто прокатить сумели,—
Так, каждый на коне своем
Гоп, гоп... и т. д.

Одно действие в этой пьесе осмеивает немного грубовато события в прусской палате депутатов, вызванные существующим конфликтом. Называлось это действие: „Заседание парламента в Китае“, следовательно, разыгрывалось будто бы в Небесной Срединной империи. Но китайские костюмы и разного рода преувеличения ни от кого не скрыли прусского содержания.

Чорт овладел Китаем, и его министр вносит в парламент законопроект об обложении воздуха налогом. В парламенте против этого сорганизовалась оппозиция, вождь которой восклицает:

Ведь это не закон, а бред!
Он не пройдет,—нет, нет и нет!

Министр призывает к умеренности,—„таким путем можно итти вперед“ (тогдашнее выражение Бисмарка). Когда оппозиция не уступает, он поет:

Друзья, ваш неуместен спор,
Кой-где и хуже было:
Вот в Гессене недавно сбор
Со взломом власть чинила.

Оппозиция же отвечает:

На гессенцев нам наплевать:
Им можно,—вот-то благодать!—
Чуть что, в Америку удрать.
А нам куда деваться?

Эти слова всегда вызывали бурное одобрение.

Затем следует голосование. Кто за проект, должен остаться сидеть, кто против—подняться с места. Под призывное пение на мотив: „Подымайтесь живо, товарищи, на коня, на коня“, поднимается весь парламент. Тогда Цербер возглашает о прибытии „Его проклятейшества“ Сатаны. „Его проклятейшество!“ отвечает весь парламент, и все бросаются на брюхо. Сатана вступает величественно со словами, которые изрек Бисмарк на одном боевом заседании палаты депутатов: „Я все слышал, я сидел в соседней комнате“.—„Новый налог, ваше проклятейшество!“—восклицает министр. На это Сатана: „Ну?“—Министр: „Проект отклонен“.—И сатана говорит решительно:

> Ай, вот это мне уж больно нравится,
> Мы этому скоро положим конец.
> Мне совсем не угодно,
> Чтобы всякое дубье здесь позволяло
> себе говорить.

Обращается к депутатам, лежащим на брюхе:

> Раз, два, три, четыре,
> Мои друзья (показывая на выход), идите с миром!
> Пять, шесть, семь, восемь,
> Покойной ночи, милости просим!

Величественной походкой оставляет зал в сопровождении министра, Цербера и слуг.

Как только сатана и его свита ушли, депутаты поднялись, выступили вперед к рампе, построились в ряд, вытянули руки и, прижав одну ладонь к другой, каждый образовали из рук круг. Затем они запели, в такт ритмически выбрасывая каждый перед собою свои сцепленные руки то вправо, то влево.

> Вот мы снова вместе побыли,
> Снова немного позабавились.
> Тут отец пришел,
> В руки палку взял,
> Нас опять разогнал.

Они повторяли это таким образом, что текст пели все тише, а последние слова каждого стиха все громче, подкрепляя пение ритмическими движениями рук. Наконец текст уже обозначался только беззвучным движением губ, но тем энергичнее отчеканивались конечные слова:

> . . . вместе побыли,
> . . . позабавились!
> . . . отец пришел!
> . . . палку взял!
> . . . разогнал!

затем они быстро повернулись кругом и побежали к выходу.

Публике эта сцена каждый раз доставляла колоссальное удовольствие, она требовала обыкновенно повторения—три, четыре раза. Но меньше всего сознавала она все значение самой сатиры на слабость позиции парламента по отношению к правительству.

Оппозиция была тогда двуликой. Она была направлена, с одной стороны, на внутреннюю политику и, вместе с борьбой против правительства на этой почве, была против усиления военной власти в Пруссии; с другой стороны,—она нападала на двусмысленное отношение прусского правительства к стремлениям демократических кругов к восстановлению единства Германии, а также на недостаточное соблюдение национальных интересов Германии пред иностранными державами. К каким противоречиям это привело и какой зародыш разложения демократической партии скрывался здесь, ясно показал каждому 1866 г. Но более проницательному взору это открывалось уже в описанной здесь пьесе. В этой же пьесе, где любой „доброволец" мог бы в цитированных здесь куплетах учуять государственную измену, в предпоследнем акте публике преподносился куплет военных сигналов, который нынешних националистов привел бы в восторг. Послушаем несколько стихов, сохранившихся у меня в памяти.

Комик изображает на сцене трубача с трубой в руках. После нескольких вводных замечаний он поет:

Чтоб спасти дорогую отчизну,
Восстал когда-то город наш Аар,
Мы цепи рабские разбили
И Франции поставили предел.
Тогда водил полки наш Блюхер
И звал всегда нас все вперед!
Отчизне жертвуя добром и кровью,
Как мы тогда трубили бодро!

Трубит на мотив вечерней зори,—которую солдаты сопровождали пением: „В постель, в постель, вы, бездельники! Бьет час последний вам, в постель, в постель!" Или еще более задорным текстом,—и переводит его:

Вот скачет конница французов,
Пруссак не трусит перед ней,
Он делает карре, карре!

Второй куплет изображал обратную картину:

Теперь же жизнь иная стала:
Коль спор возник меж народов,
Он дипломатами решен,
Без нот не обойдется он.

Творится многое, как быть не должно,
Охотнее всего идет все под сукно,
И чтоб избегнуть лишнего скандала,
Гремят лишь звуки нашего сигнала.

Наигрывает сигнал ко сну и переводит в насмешливом тоне:

Курок на спуск! Курок на спуск!
Всегда, всегда курок на спуск!

Таким образом, тот факт, что международные споры улаживаются дипломатически, путем соглашений и взаимных уступок, не считается здесь прогрессом, а оплакивается, как отказ решать споры оружием.

Затем были еще вопросы, связанные с национальным существованием, которые настоятельно требовали разрешения, и приходилось определенно сомневаться, могли ли они вообще быть решены мирным путем. Но приведенные здесь два последние куплета безоговорочно указывают на разрешение вопросов военными средствами, путем милитаризма. Так понимали их не только мы, ребята,—так должна была понимать это и масса простого народа среди слушателей.

Так же звучал и третий куплет. В нем шла речь о Шлезвиг-Гольштейнском вопросе.

О Шлезвиг-Гольштейне, окруженном морями,
Где наши братья живут, наши немцы,
Много песен сложилось и пелося встарь,
И звуки тех песен носилися вдаль.
Они и поныне страдают, как встарь,
А насе раз нбудит от сна и звонарь.
О, если б скорей нам тот день засиял,
Когда мы услышим вот этот сигнал?!

Трубит на мотив утренней зори,—барабанный бой, называемый Reveille,—и переводит:

Разве вы еще недостаточно долго—с-п-а-л-и?

И у этого куплета смысл был—решить вопрос путем оружия, как оно и началось год спустя. Как известно, это было встречено далеко не дружелюбно Лассалем, который еще не мог отрешиться от мысли о решении этого вопроса путем революции. Поэтому он предостерегал членов руководимого им Всеобщего Германского рабочего союза от увлечения модной „Шлезвиг-Гольштейнской—шумихой“. „Преобразование Германии в единое целое“—значилось в составленной им для Союза резолюции—„решило бы вопрос о Шлезвиг-Гольштейне само собою“. Пред этой великой задачей, „пока в Германии насчитывается 33 владетельных князя, вопрос о том, что один

из них иностранный князь, представляет для нас сравнительно очень незначительный интерес". Здесь имелся в виду датский король. Как владетель герцогства Гольштейн, чисто немецкий характер которого никем не оспаривался и население коего не терпело также никакого национального гнета,—по закону Германского союза он должен был считаться одновременно и германским князем. Об этом, мы, ребята, конечно, не имели никакого понятия и поэтому принимали за чистую монету преувеличения песни: „Шлезвиг-Гольштейн, окруженный морями". Точно также была в неведении немалая часть и взрослого населения Германии, так что ее нетрудно было настроить воинственно против Дании.

★

Водевиль: „Пятьсот тысяч чертей" был почти последней пьесой, которую я видел вместе с Алексом Гернгроссом у Майзеля. В 1863 г. мои родители переехали на улицу Johanniterstrasse, проходящую у Hallische Tor, а семья Гернгросс около этого же времени перекочевала на Müllerstrasse, расположенную на крайнем севере Берлина. Лежавшее теперь между нами расстояние вдоль всего Берлина, конечно, явилось непреодолимым препятствием для продолжения наших близких сношений. Время от времени Алекс и я ходили еще друг к другу, но времечко наших общих проказ и радостей прошло безвозвратно.

Мы действительно любили друг друга, и его родители, как я уже заметил, относились ко мне в высшей степени благожелательно. Мне разрешалось не только бывать в саду, сколько угодно, но оставаться у них в квартире,—был ли Алекс дома или нет. Там я прочитывал все, что у них можно было достать подходящего.

Сюда принадлежали отдельные выпуски лубочных романов, которые у них имелись в компании еще с кем-то, вследствие чего я находил у них только отрывки от каждого романа и с тем большей жадностью проглатывал их. Один из романов, насколько я знаю, принадлежал перу Александра Дюма-отца, Он назывался „Тысяча и одно привидение" и состоял из всякого рода слабо связанных между собой рассказов о чудесных приключениях. Там был один рассказ о голове одного гильотинированного (казнь обезглавливанием), которая скатилась на опилки; опилки остановили кровотечение, и голова еще в состоянии была произнести несколько слов. Более глубокое впечатление, чем этот и подобные страшные рассказы, произвели на меня приключения, описанные в романе: „Жизнь невольников на реке Красной" (Red River—река в Северной Америке). В нем описывается жизнь молодых людей разного возраста. Отец их был образованный европеец, мать—негритянка. Они воспитывались у отца и выросли в богатой обстановке, но по его смерти

каким-то образом были отвезены обратно в Луизиану и там проданы в рабство, где должны были претерпевать всякого рода жестокости и лишения. Их судьбы, описанные очень умело и разнообразно, меньше возбуждали фантазию, чем душу, и вызывали у меня много слез. О войне всемирно-исторического значения, которая разыгралась в Америке за уничтожение невольничества в то самое время, когда я читал о его ужасах, я еще пока ничего не слыхал.

В зимние вечера 1859 г. фрау Гернгросс, бывшая родом из Тюрингии, рассказывала нам разные разности о своей родине, в том числе и народные сказки, которых я нигде потом не встречал. Мы же зато угощали ее гимнастическими упражнениями, которые считали чудом искусства. Мы были настолько простодушны, что, не имея гимнастических костюмов, сбрасывали при ней и при ее уже взрослой дочери все, до рубашки, и проделывали в таком виде танцы, которые по невольному комизму вряд ли оставляли желать большего. Однако, фрау Гернгросс, тихая, скромная женщина, ни одним словом критики не разрушала наших обманчивых понятий о красоте движений.

С другой стороны, дружеские чувства, которые она ко мне обнаруживала, не мешали ей, когда Алекс был непослушен, выставлять ему угрозу: „смотри, придет еврей!“ Здесь, конечно, имелся в виду не я, а один еврей-торговец в разнос, который иногда приходил в наш дом; своей черной бородой и мешком за спиной он, без сомнения, производил впечатление типичного старьевщика, но на меня его вид действовал неприятно. Угроза эта, однако, никакого отношения не имела ни к религиозной, ни к расовой ненависти. Этот торговец был у них далеко не неприятным посетителем. Когда он появлялся, его приглашали в комнату, усаживали, угощали рюмочкой водки, и затем обсуждались цены продаваемых ему старых вещей. По окончании сделки в комнату звали ребят, и в их присутствии,—они стояли неподвижно, отвернув лицо в сторону,—ему отдавали отчет, как они вели себя со времени его последнего посещения. Конечно, отчет производился всегда в таком духе, что он с полным правом мог проявить милосердие и отпустить детей с кротким напутствием. Отвернув лицо, они подавали ему руку и бегом исчезали из комнаты.

Такая сцена повторилась несколько раз во время моей дружбы с Алексом, и если я мог сказать себе, что в основе ее нет какой-нибудь неприязни к евреям, я все же не мог никогда отделаться от чувства, что здесь что-то неладно. Я только не мог точно определить этого „что-то“. Уже спустя очень долгое время я пришел к следующей мысли: когда детей с ранних лет пугают евреем, как чем-то злым, этим у них создают ассоциацию чувств, которая еще долго связывается со словом „еврей“. Каждый раз, когда они даже в зрелом возрасте

слышат это слово,—бессознательно для них самих,—у них уже готов приговор, подсказанный предрассудком.

Исходя из того же чувства, я не мог отделаться от мучительного ощущения, когда фрау Гернгросс и другие соседки, желая сказать мне что-нибудь приятное, заявляли мне, — „Ах, вы, Бернштейны, совсем не настоящие евреи“. Я принимал эти слова в том смысле, какой они им придавали, но они меня всегда больше унижали, чем возвышали.

Занося эти строки, я вспомнил эпизод, происшедший однажды у моей матери с упомянутым торговцем. Он захаживал, конечно, иногда и к нам, но для матери, большею частью, приятным гостем не был, так как она каждую носильную вещь старалась до крайности использовать дома и обыкновенно не имела для продажи ничего ценного. Случилось, однако, ей в минуту денежного стеснения продать какую-то носильную вещь, но вслед затем она спохватилась, что по ошибке продала не то, что хотела. Узнав у соседей его адрес, она поспешила к нему на квартиру, чтобы выкупить, если возможно, эту вещь обратно. Она застала только жену торговца, но вместо полупролетарки пред ней явилась дама в хорошем буржуазном туалете, с соответственными манерами, а квартира оказалась хорошо обставленной и содержащейся прилично. По этой даме видно было, что она нужды не знает. На предложение моей матери продать обратно ту вещь она так легко откликнулась, что видно было, что для нее никакого значения не имеет та прибыль, которую отсюда можно получить. Не было сомнения, что этот еврей-торговец, который с мешком за спиной, сгорбившись, тащился по улицам, осыпаемый насмешками со стороны уличных мальчишек,—свою жену избавил от всех неудобств своего не слишком-то прибыльного ремесла и отказался сам, очевидно, от многих удобств, чтобы только обставить уютно дом, в котором она является хозяйкой. После этого мать стала совсем иными глазами смотреть на этого человека.

Мне припомнился этот случай, когда впоследствии у Гейне в „Шекспировских женских типах“ я натолкнулся на место, где Гейне в главе о Иессике („Венецианский купец“) обращает внимание на две точки зрения, представленные Шекспиром. В сцене верховного суда в „Венецианском купце“ друзья Антонио торжественно заявляют, что они охотно пожертвовали бы даже своими женами, если бы могли этим спасти друга. При этих словах Шейлок,—который раньше заявил, что кольца, подаренного ему когда-то его покойной женой, он „не отдал бы за целый лес обезьян“,—говорит в сторону:

> Вот каковы христьяне! У меня есть дочь.
> Пусть лучше кто-нибудь из племени Варнавы
> Ей мужем станет, только не христьянин!

Гейне приводит это место как образец глубокого чувства, господствующего в еврейской семье. Но оно освещает еще другой вопрос, именно — об отношении еврея к своей жене. Недавно умерший партийный мой товарищ Адольф Гепнер, сопроцессник Августа Бебеля и Вильгельма Либкнехта в лейпцигском процессе 1872 г. о государственной измене, в высшей степени честная натура, выпустил работу о еврейском вопросе около 1880 г., когда антисемитская травля стала все сильнее захлестывать Германию. В этой работе он подводит нравственный баланс между евреями и христианами; баланс сводится к тому, что у христиан женщина стоит большего, чем мужчина, у евреев, напротив, мужчина больше, чем женщина. У первых женщине приходится работать более усиленно, чем мужчине, а у евреев мужчина работает более усиленно. Но так, конечно, нельзя обобщать. То, что мой добрый друг Гепнер наблюдал в своей родной Остэльбии (в Восточной Пруссии), того он, вероятно, не нашел в Америке, куда он после переселился, да и в Западной Германии он мог не раз видеть иную картину. Правда только то, что вообще еврей оказывается более способным на жертвы мужем, чем вообще ариец из Восточной Пруссии. Но это вовсе не вопрос религии или расы, а культурного развития.

Драматическую с культурной стороны картину, которую я в свое время понял только наполовину, пришлось мне наблюдать однажды в семье Гернгросс.

Дело было в будни, летним днем, в довольно поздний послеобеденный час. Вернувшись домой из школы, я увидел пред нашим домом толпу уличных мальчишек, которые глядели вверх, по направлению какой-то комнаты в первом этаже, где время от времени в окно можно было разглядеть молодую даму. Как только ее замечали, мальчишки подымали крик: „Так делает капитан, так делает капитан!“ и при этом делали правой рукой движение, которое мне казалось очень непристойным. Дама быстро отходила от окна. Я посмотрел на эту сценку несколько минут, потом пошел наверх в нашу квартиру бросить книги и тетради и поесть вечернюю булочку и побежал после этого вниз в сад Гернгроссов. Проходя ворота, я увидел в них управляющего с палкой в руке. Он грозил мальчишкам и, повидимому, разогнал их. В саду я застал, кроме Алекса и Фердинанда, двух двоюродных братьев, почти одного с ними возраста, сыновей старшего брата г-жи Гернгросс. По их молчанию я понял, что случилось нечто особенное, но не хотел спрашивать, а только заметил: „Теперь он их разогнал“.—„Кого это?“ послышался вопрос. „Да этих хамов на улице“, ответил я и показал по направлению туда. Их лица просветлели, они переглянулись между собой, но ничего не сказали. Некоторое время мы все молчали, а потом вдруг по-

слышался с лестницы, ведущей во флигель, голос старшей сестры Алекса: „Зайдите все“. Она, очевидно, меня не заметила, иначе, конечно, устранила бы меня. Но так как она этого не сделала, а я понятия не имел, в чем дело, то я принял приглашение и на свой счет и вместе с ними поднялся в квартиру.

Там сидели широким полукругом господин, госпожа и Лаура Гернгроссы, затем молодая дама, которая показывалась в окне, а на некотором расстоянии от нее — чета Вальтер (старший брат г-жи Гернгросс и его жена). Мы, ребята, стали напротив в ряд, причем Алекс, его брат и его кузены, снова отвернулись в сторону. „И знаешь, мама,—сказала молодая дама,— и тут выяснилось, что она дочь Вальтеров, — все мое белье помечено моими буквами Л. В.“ Мне стало теперь ясно, что она сошлась с капитаном и делает попытку примирить родителей с этим фактом. Мать ее, жалкая, с подавленным видом женщина, не знала, очевидно, что ей на это ответить, и обратилась в своем затруднении к ребятам:—„Ну, протяните-ка руку своей сестре и скажите ей добрый день“. Но мальчики сделали упрямое движение, обнаружившее, что сестра, по их мнению, не достойна этого. Это вызвало у Луизы Вальтер горькое замечание: „боже, эти мальчики не имеют ни капельки воспитанности“.

Больше я ничего из беседы не слышал. Госпожа Гернгросс подошла ко мне и сказала мне тихо на ухо: „Уходи, Эдуард, здесь идет разговор о частных делах, которые касаются только нашей семьи“. Я очень охотно послушался, потому что на меня произвело очень мучительное впечатление то, что я успел услышать. Мне не было еще полных одиннадцати лет, и в вопросе о половых отношениях, как я убедился годом позже, я отстал от всех детей моего возраста, как школьных, так и уличных. Но все же я и тогда настолько разбирался, чтобы понять, что Луиза Вальтер находится в таких отношениях с капитаном, в какие ни одна „порядочная“ девушка не должна вступать по буржуазным нравственным понятиям,—а других я не знал. И то, что эта особа позволила себе бросить своей бедной матери упрек, что она не сумела дать своим мальчикам „ни капельки воспитанности“, меня возмутило. Таким образом, я ушел из квартиры и больше не спрашивал, чем кончилась беседа. Но эта картина надолго запечатлелась у меня в памяти, как символ настоящей трагедии: здесь сидит удрученная мать, а там, — как будто в сознании своего достоинства, — дочь, которая навлекла позор на своих родителей, обвиняет мать в „скверном воспитании“ братьев.

С точки зрения матери картина была именно такова. Что же касается дочери, то не следует забывать, что отказ братьев подать ей руку был для нее страшным унижением, тем более обидным после сцены, которую устроили ей уличные мальчишки. То, что мне показалось высокомерием, могло быть

результатом неумения найти правильное выражение для охватившего ее душевного волнения. И ее положение было достаточно трагично. Ведь очевидно, что она добивалась посредничества своей тетки, чтобы, представив родителям в наилучшем свете свое положение, примирить их с ним, а ей пришлось перенести оскорбления, которые трогают нас до слез, когда мы слышим в гетевском „Фаусте“ жалобу Маргариты: „Они распевают песни про меня“.

Прежде чем семья Гернгросс покинула Ангальтскую дорогу, г-н Гернгросс, не сводивший концов с концами своими тирами для стрельбы, сделал попытку взяться за профессию, которая тогда в Берлине только начинала правильно развиваться, — за фотографию. Он устроил в своем саду ателье (фотографическую лабораторию), причем его шурья принимали в этом деятельное участие; он подучился искусству фотографирования, пополнил обучение штудированием учебника, и затем открыл у себя фотографию. Но ему пришлось скоро убедиться, что для этого дела он вряд ли мог выбрать более неподходящую улицу, чем нашу, с ее какими-нибудь восемью-девятью домами и чрезвычайно мало оживленную из-за ее длины и отдаленности. Бывали дни, когда ни один посетитель не появлялся в ателье.

Тем чаще приходили мы, Алекс и я, к фотографическому аппарату. Почти каждый раз, когда отец Гернгросс испытывал новый материал или собирался проделать какой-нибудь другой опыт, он звал нас в лабораторию. Из снимков, которые он тогда делал с нас, конечно, очень редко что-нибудь выходило.

Так как мы знали, что он их большею частью даже вовсе не проявлял, то мы смотрели на всякое желание сниматься, как на шутку, и так и относились к этому. Мы бросали друг другу выражения: „Пожалуйста, веселое лицо“, „Держитесь свободно“ и т. п., которые г-н Гернгросс употреблял с посетителями, чтобы заставить их держаться и смотреть как следует. Мы их коверкали на разные лады до карикатурности и перекривляли посетителей, которые становились перед аппаратом, как остолопы, или казались нам глупыми из-за какой-нибудь неправильности в телосложении.

ОТТО

В те годы (1861 и 1862) Алекс не был моим единственным другом. Я ведь мог его сопровождать к Геннигу или в какой-нибудь другой сад для народного гулянья, где у его отца был тир, только в виде исключения. И вот, на ряду с ним, я завязал дружбу еще с сыном одного сослуживца моего отца, которого я назову Отто Шютц. Он был на несколько месяцев старше меня, физически значительно крепче и в школьных занятиях шел почти в уровень со мной. Все-таки по некоторым предметам я был сильнее его.

ШАХМАТНАЯ ИГРА И ИГРА ШАХМАТАМИ

Сблизила нас главным образом шахматная игра, которую мы тогда изучили и чрезвычайно полюбили. При этом мы в различных случаях играли по-разному. Если мы были одни, то мы серьезно играли в шахматы. Мы тогда уходили в спальню его родителей, где пол был застлан дорожкой, ложились на ней вдоль, шахматную доску клали между собою и играли лежа. По нашему представлению так делали римляне при разнообразных играх в кости. Каждый из нас старался из всех сил выиграть, но силы наши были почти равны.

Если же при нашей игре присутствовали младший братишка и младшая сестренка Отто, то игра принимала другой характер. Тогда игра в шахматы, превращалась в игру шахматами, в забаву с шахматными фигурами, напоминающую театральное представление. Эта игра занимала у нас в три-четыре раза больше времени, чем настоящая шахматная игра.

Тогда не только, как в обыкновенной шахматной игре, король и ферзь (королева), но и конь, слон и тура (ладья) наделялись человеческими чертами, а именно: слоны приобретали звание генералов и послов, а ладьи, которые по своему значению в шахматах занимают следующее после королевы место, были для нас принцами, причем ладьи короля—кронпринцами, ладьи ферзя—молодыми принцами, которых мы представляли себе нашего возраста и наделяли их всевозможными чудными свойствами. Это они познакомили между собой оба народа, черных и белых, которые вначале ничего не знали друг о друге. Сами же они свели между собою знакомство в лесу и заключили друг с другом дружбу. Отношения между народами сначала тоже были дружественные. Королевская чета одного народа в сопровождении своих офицеров отправлялась с визитом к другой; за этим следовал ответный визит, и каждый раз они развлекали друг друга театральными представлениями. Здесь-то, к величайшей радости своих сестер, Отто, которого отец много раз брал с собой в очень популярный тогда увеселительный клуб Валгалла (Walhalla—рай у древних германцев) делился своими воспоминаниями о слышанном и виденном там; я же угощал их целыми актами из Майзельского театра. Но эти высокие наслаждения каждый раз кончались конфликтом, который приводил к войне, т.-е. к серьезной военной кампании, проводившейся на шахматной доске строго, по правилам шахматной игры. Хотя исход войны решался матом одного из королей, но этим еще не прекращались враждебные действия.

Игра заканчивалась каждый раз пытками пленных на каждой стороне, именно—разбитых в сражении офицеров и крестьян, причем одна сторона старалась превзойти другую

в жестокости. Только уж детям могла нравиться эта забава даже в таком виде, как здесь, где дело ограничивалось словесным описанием. Все, что мы слышали или читали об отвратительных мучениях, которым подвергали древние римляне, средневековая пытка, азиатские и африканские деспоты своих пленных или обвиняемых, о жестокой казни лифляндца Паткуля шведами в царствование Карла XII,—все это и тому подобные факты служило нам образцом и в той или иной форме копировалось в нашем описании, а при возможности еще и преувеличивалось. Мы вовсе не были особенно жестокими мальчиками; могу даже сказать, не рисуя себя в лучшем виде, чем в действительности, что мне всегда было не по себе при этой операции. Но каждый из нас был охвачен чувством ни за что не уступать другому, не обнаружить слабости перед другим. Свой протест против слишком постыдной жестокости по отношению к какой-нибудь из своих фигур каждый выражал тем, что измышлял еще более позорную жестокость для фигуры противника. В конце концов мы доходили до такой виртуозности, что, например, сдирание кожи по кускам и втирание перцу и соли в раны и тому подобное было для нас почти только нежной лаской.

Но все же это не всегда проходило так гладко. Так, я припоминаю, что однажды вследствие мук, которые Отто описательно причинял моему молодому принцу, я почувствовал себя таким несчастным, каким навряд ли был бы, если бы это было в действительности. Этот принц был моим любимцем, которого я в своем воображении наделил самыми прекрасными качествами, какие только можно пожелать мальчику; когда же Отто замучил моего ненаглядного мальчика по всем правилам искусства, я должен был призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не взвыть. Я ушел при первой же возможности домой, забрался быстро в постель, укрылся с головой одеялом и тогда дал волю своим слезам.

Должно быть, я при этом немного всхлипывал, по крайней мере моя мать заметила это, подошла к кровати и спросила, что со мной. „Ах“, ответил я, не решаясь сказать всю правду. „У меня голова идет кругом при мысли, как раньше мучили людей“.—„Это, действительно, было ужасно“, ответила моя мать, „но об этом тебе все же не стоит думать, когда это все прошло. Считай себя лучше счастливым и будь благодарен, что ты живешь в более мягкое время“.—„Это так, я согласен“, возразил я жалобным тоном, „но в некоторых местах происходит это еще и теперь, и мне так страшно жаль этих людей“.—„Но ведь слезами ты ничего не изменишь, сынок“, последовал тогда ответ матери. Она погладила меня по голове, поцеловала и молвила голосом, полным любви: „Постарайся только поскорее заснуть. Тебе следует хорошо выспаться“.

Скоро ли я действительно заснул, я не знаю. Помнится, что я еще порядком поплакал тихонько, про себя. Но все-таки на душе стало спокойнее, а потом и сон пришел, я заснул. Однако, прошло еще некоторое время, пока удалось изгладить это воспоминание, и я мог опять беззаботно встречаться с Отто.

КЛЯТВА

Отто и я ходили тогда заниматься гимнастикой в местность, называвшуюся Hasenheide, в известный гимнастический зал, украшенный статуей творца гимнастики Яна. Отто ходил туда по требованию своей школы, я—частным образом. О моих гимнастических упражнениях лучше будет поменьше говорить. Благодаря своим упражнениям в саду Гернгросса я, по крайней мере, в общем мог еще справиться с реком и с параллелями, но по прыганию вверх и на расстояние я принадлежал к самым последним, перепрыгнуть же через „козла“ или „кобылу“ мне никогда не удалось.

После окончания урока гимнастики мы встречались в условленном месте, шли через Гаппольдовскую пивную на незастроенный участок,—где теперь больница Урбана со своими службами,—по направлению к плоскому берегу, переходили через мост у Hallische Tor, тогда еще деревянный под‘емный мост, и затем через Hallische Tor попадали на Ангальтскую дорогу и по ней шли к нашим домам, расположенным в другом конце вблизи Anhaltische Tor.

Мы не страдали избытком денег, чтобы купить себе сладости или просто стакан пива. Если у нас было по медной монете, то покупали себе в одной лавчонке, которая славилась своим крестьянским хлебом, большой ломоть и с‘едали его с аппетитом, которому многие могли позавидовать. Если денег у нас не было, обходились и без еды. Наша беседа протекала обычно очень оживленно, так что довольно длинный путь нам никогда не казался скучным.

Однажды, когда мы проходили Hallische Tor, в этом отношении произошла поразительная перемена. Отто перестал отвечать на все мои замечания, и когда я это заметил, то остановил свою говорильную машину, так что мы прошли некоторое время рядом молча. Когда мы достигли моего дома, который находился на расстоянии шести домов южнее дома Отто, я хотел уйти к себе, но он сказал голосом, в котором чувствовалась и просьба и требование:

„Пойдем дальше со мной!“

„Зачем?“, спросил я.

„Уже увидишь“, возразил он. Мы молча двинулись дальше. Когда мы очутимись перед его домом, он сказал тем же тоном: „Пойдем со мной наверх“. И когда я и здесь захотел

узнать причину, то опять последовал этот несколько надменный ответ: „Это ты увидишь". „Так не разговаривают", возразил я, задетый этим. Он более мягким тоном, но все же с требовательной ноткой в голосе сказал: „Прошу тебя, пойдем со мной наверх".

Поколебавшись немного, я уступил. Когда мы пришли наверх, он пригласил меня в гостиную своих родителей, где стены были украшены чучелами птиц различной величины, и завязался следующий разговор.

Отто: „Не заметил ли ты, что я по дороге с тобой больше не разговаривал?".

Я: „Да".

Отто: „А знаешь, почему?"

Я: „Нет,—ведь дорогой ровно ничего не случилось".

Отто: „Да? Ты так думаешь? Ну, так я тебе скажу причину: ты любишь Алекса больше, чем меня".

Я: „Как это тебе пришло в голову?"

Отто: „Ты меня три раза назвал Алекс вместо Отто. Это показывает, что ты любишь Алекса больше, чем меня".

Я: „Ничуть не бывало. Если это случилось, то из-за рассеянности. К моей любви это никакого отношения не имеет".

Отто: „Ты мне даешь слово, что это так?"

Я: „Конечно".

Отто: „И ты согласен мне в этом поклясться?"

Я: „Само собою, раз я даю тебе в этом слово".

Тогда он, подставив стул, достал со стены самое большое чучело какой-то птицы,—по-моему, это был сокол; потом побежал в спальню и достал из выдвижного ящика так называемого Ваньку-встаньку, он же кобольд (домовой). Эта игрушка принадлежала его умершему грудным младенцем братишке, и Отто хранил ее как талисман. Затем он устроил следующую процедуру: каждый из нас должен был ухватиться рукой за одно из больших крыльев птицы, другой обнять Ваньку-встаньку, а я, три раза покруживши Отто, должен был поклясться, что я не люблю Алекса больше, чем его. Этим он остался доволен, и если я не ошибаюсь, то мы еще и поцеловались.

Я могу сказать, что дал клятву с чистой совестью. Но, конечно, совершенно другой вопрос, был ли я психологически прав. Как я уже упомянул, Отто был мне духовно ближе, чем Алекс и отличался несомненно рядом весьма ценных качеств, Но ему не была свойственна плутовски-наивная манера другого. а это была черта, которая прежде всего завоевывала сердца. Это обнаружилось, когда довольно много лет спустя мы были отделены друг от друга расстоянием в целый Берлин. Когда я его однажды встретил на улице,—что во всяком случае случалось довольно редко,—я уже служил в кредитном учреждении,

а он был учеником в слесарной мастерской. И вот, при виде его, мое сердце забилось от радости, и я бы охотно бросился ему на шею на улице, несмотря на его всю запачканную рабочую блузу.

ПОЛОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

Существует английская поговорка, что двое могут составить хорошее общество, трое—уже нет. В один прекрасный день я очутился под угрозой почувствовать это до неприятности ясно, когда Отто привел домой еще друга в лице Карла Эрнста, тоже сына паровозного машиниста. Немного старше нас и более грубого сложения, этот третий, повидимому, всецело овладел моим Отто. Они шушукались все время о чем-то, чего я не должен был слышать, так что мало-помалу я начал себя чувствовать совсем лишним. Однажды, когда мы трое были в спальне родителей Отто, мне действительно предложено было оставить их на-время вдвоем. Я запротестовал,—ведь у нас между собой и ссоры никакой не было; после некоторого обсуждения мне было разрешено спрятаться за гардиной, закрывавшей висевшее на стене платье, с условием не выглядывать, пока меня не позовут. На это я согласился и честно старался сдержать слово. Но случилось так, что при одном невольном движении гардина раздвинулась, и я увидел обоих мальчиков нагишом, тесно прижавшихся друг к другу у кровати г. Шютца. Не знаю, что они там делали, так как я скорее отвернулся и поправил хорошенько гардину. Сделал я это, во-первых, для того, чтобы во всяком случае, сдержать свое слово, и во-вторых, потому, что мне это показалось непристойным, а что это было так, выяснилось из дальнейшего.

Несколько дней спустя, когда я шел куда-то по делу отца, и Отто меня сопровождал, он вдруг принялся просвещать меня в моем невежестве.

„Скажи-ка мне, Эдуард“,—начал он, „ты действительно еще веришь, что аист приносит детей?“

Откровенно говоря, я серьезно не задумывался над этим, но будучи мечтателем, я каждый раз снова удовлетворялся этой легендой, не придавая ей абсолютной веры. Но тон и форма, в которой это было сказано, меня взволновали, и я живо откликнулся: „Ах, к чему это ты!“

„Ну, откуда же они берутся?“ продолжал поучать Отто. Моя мудрость на этом кончалась, и я мог только сознаться, что не знаю. За этим последовало пространное об‘яснение, которому я вначале резко воспротивился.

„Этого не может быть“, об‘явил я с возмущением, „мои родители не делают ничего подобного“.

Завязался спор, и я оказался побежденным. Я не мог противопоставить ничего разумного аргументам Отто. Я был полон противоречивых ощущений, когда мы расстались. Своеобразная гордость от приобретенного познания боролась с мыслью, что это все же отвратительно. В этом настроении я встретил девочку почти моего возраста, дочь живущего во дворе нашего дома носильщика, и решил ее спросить, что она об этом знает.

„Анна, ты знаешь, откуда берутся дети?“ Вместо ответа она сделала жест, который подтвердил утверждения Отто. Я с ней больше не говорил и, войдя в их квартиру, натолкнулся на ее брата, который был старше ее на два года, и задал ему тот же вопрос. Ответ был по существу тот же. И результат был тот же, когда я обращался с этим вопросом к другим сверстникам. Никто, казалось, не был в неведении. Больше того. Даже моя девятилетняя сестренка Лиза, к которой я в конце концов тоже обратился с этим вопросом, видоизменив его прибавлением „уже“: „Лизочка, ты уже знаешь и т. д.“,—даже эта невинная крошка уже з н а л а. И откуда? „Прислуга Мелинга“,—семнадцатилетняя девушка, служившая у одного железнодорожника,—был ответ, „нам сказала“. Сестре, с которой я охотно делился своими моральными сомнениями, я решился задать дальнейший вопрос: „Находишь ты это красивым?“ Она согласилась со мной, что красоты в этом нет. „Но папа и мама ведь тоже делают это?“ продолжал я жалобным тоном. „Прислуга Мелинга говорит, что женатые люди должны это делать“, последовал решительный ответ.

У меня гора свалилась с плеч. Мои родители были таким образом оправданы.

Однако эта мысль не могла вполне успокоить меня самого. Она возбудила во мне другой вопрос, который требовалось сейчас решить. Когда мне показалось, что я нашел для него правильный ответ, то я опять доверился моей сестре:

„Ты знаешь, Лизочка, я принял решение никогда не жениться“.

„Почему?“

„Даже если это можно вполне оправдать, все же в этом есть что-то отвратительное, что меня и отталкивает. Я не женюсь. Я хочу изучить медицину, и когда я стану врачом, тогда я отправлюсь в Швейцарию и буду там лечить бедный люд“.

Швейцарию я знал только по балладам Шиллера и по школьному изданию его „Вильгельма Телля“. Поэтому она в моем представлении рисовалась как страна, исключительно населенная бедными пастухами.

„И если ты хочешь“, продолжал я, „то ты поедешь со мной и будешь вести мое хозяйство“.

Лизочка с радостью согласилась. Мысль показалась ей изумительной. Но вышло еще лучше.

„А ребенка мы возьмем на воспитание“, закончил я свою исповедь.

Теперь план был вполне на высоте. Не знаю, как часто мы погружались в его обсуждение, я бы сказал, – упивались им. С ним дело было устроено вполне надежно, я мог с душевным спокойствием взирать на свое будущее.

Но достигнутое мною „познание добра и зла“ не должно было остаться без плохих последствий.

Я тогда завязал знакомство с одним мальчиком из соседнего дома, которое постепенно превратилось в настоящую дружбу. Карл Кеппен—да простит он мне, что я его называю настоящим именем—был единственным сыном умершего молодым ремесленника. Его мать, вдова ремесленника, энергичная женщина, кое-как перебивалась стиркой белья на дому. Он был счастливым обладателем руководства к „Чародейству“. Это была брошюра ценою в один зильбергрош с описанием разного рода фокусов, и мы с ним некоторые из них пробовали проделывать. И вот когда я однажды накануне воскресенья был у Шютца, дернула меня нелегкая похвастать этим, и я неожиданно сболтнул: „я умею колдовать“.

В это время там находилась в гостях уже немолодая женщина, некая фрау Унгер, друг семьи, жена железнодорожного служащего. И должна же она была отозваться на мои слова. „Ну, это будет интересно“, сказала она пренебрежительно: „О чем же ты, от горшка три вершка, можешь колдовать?“

Вопрос был щекотливый. Дело в том, что ни одна наша попытка не увенчалась успехом. Но пренебрежительный тон ее сомнения не позволил мне в этом сознаться, и чтобы что-нибудь сказать, я прибегнул к полученному мною „просвещению“ и исправил свою первую глупость новою, еще большею глупостью: я смело выпалил: „я могу поколдовать, чтобы вы умели делать детей“.

Как только эти слова вырвались из моих уст, я уже понял, что совершил колоссальную глупость. Правда, я не сознавал всей бестактности моих слов. Я хотел только проявить свои познания—и больше ничего. Но когда фрау Унгер с сильнейшим возмущением воскликнула: „Ну, это что-то неслыханное!“, тогда я уразумел, что совершил непростительную непристойность, и густая краска бросилась мне в лицо. Так я сидел, не проронив больше ни звука, и не слышал ни слова из того, что говорили окружающие. Как только представилась возможность, я откланялся и поплелся домой. Я думал, что этим дело кончилось, но не тут-то было.

Когда я на следующий день шел в школу, Отто, смертельно бледный, шел мне навстречу со словами: „Я имею тебе

сообщить ужасную новость. Мои родители запретили мне поддерживать с тобой знакомство".

„Со мной?".

„Да, с тобой и Карлом Эрнстом".

„Но почему?"

„Потому что вы такие оборванцы. Они боятся, что вы меня испортите".

Я—оборванец. Этого еще никто никогда обо мне не сказал. Относительно Карла Эрнста мне было понятно. Он был действительно что называется на народном языке—босяк. Но я? Сама кротость. Я не знал за собой ни одной босяцкой выходки.

О необдуманной фразе, которую я бросил фрау Унгер, я уже забыл или не думал, что это из-за нее могла выйти история. И я-то могу погубить Отто!—Его, который знал гораздо больше запретного, чем я. Одним словом, я находил это запрещение по отношению ко мне очень несправедливым. Но против силы родительского слова не могло быть возражений, и мы с Отто утешились прежде всего тем, что можем ведь часто встречаться по пути в школу.

Однако, запрещение длилось недолго. Спустя две или, самое большее, три недели Отто принес мне радостное известие, что запрещение по отношению к моей особе снято и остается в силе только по отношению к Карлу Эрнсту. Это негодный мальчик, у которого Отто может перенять только плохое. У меня же он может научиться еще многому хорошему и полезному.

Что привело родителей к такому разграничению, или что их переубедило, я не знаю. Возможно, что новые расспросы у Отто вызвали это решение, возможно, что г-н Шютц рассказал об этом инциденте моему отцу, а отец из своих наблюдений пришел к другому выводу.

Сама по себе вся эта история показывает, как легко родители, при тогдашних методах воспитания, могли приходить к неправильной оценке круга знакомых своих сыновей, насколько он опасен для них или безопасен. Если б г-н Шульц хотел сохранить „невинность" своего сына, то ему следовало бы вообще взять его из школы. Отто мне сам рассказывал: ему еще не было шестнадцати лет, когда его товарищ по реальному училищу, сын каменщика, уже „ввел" его к одной проститутке.

Отсюда, конечно, не следует, что в какой-нибудь конторе, складе или мастерской он был бы лучше огражден от этого. Что же касается гимназии, то в свое время в Берлине в четвертом классе (в Германии счет классов с конца) гимназии Вердера наш однокашник распевал нам песни, непристойнее которых едва ли можно было бы найти.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

а) ВЫСШАЯ МУЖСКАЯ ШКОЛА

По всей вероятности из-за слабого здоровья я довольно поздно поступил в школу. Мне уже пошел восьмой год, когда мои родители определили меня в высшую мужскую школу Лефлера, которая находилась на Лейпцигерштрассе между Шарлоттен-и Маркграфенштрассе. Там теперь помещается музыкальный магазин „Rote und Bock“.

Решение родителей послать меня в высшую мужскую школу, где плата за учение была для них непосильна, объясняется, не говоря уже об очень сильном у евреев стремлении дать своим детям наилучшее образование, еще следующим. За отсутствием в нашем районе хорошей городской школы, отец в свое время отдал моих обоих старших братьев в дешевую частную школу, мало отличавшуюся от берлинских городских школ. Но, к ужасу моей матери, они два раза явились оттуда домой с головой, полной насекомых. Единственно верным средством против повторения таких опытов могла быть в то время перемена школы. Поэтому отец был вынужден выбрать другую частную школу, и в этом отношении тогда ему казалось, что школа Лефлера представляла лучшую гарантию.

Это была с самого основания хорошо поставленная школа; ее владелец и руководитель, директор Лефлер, был очень благомыслящий, сердечный человек, чрезвычайно серьезно относившийся к своему педагогическому призванию. Но во время моего обучения, с 1857 до 1864 г., школа уже пришла немного в упадок из-за преклонных лет Лефлера. Но все же Лефлер твердо придерживался школьного плана. Во втором классе, считая с начала, там уже начинали изучать французский язык и геометрию, в третьем—латинский, в четвертом—алгебру и т. д. В то количество времени, которое отдавалось перечисленным предметам, можно было бы при разумной системе успеть по ним довольно много. Но системы, по которым велись занятия, были именно неразумны. Они слишком тесно были увязаны с духом гимназической программы, чтобы можно было успеть за это время хорошо вооружить учеников к жизни. Мне это уже бросилось в глаза, когда я еще сам был учеником. Мне однажды попалась под руку книга по математике одного сверстника, посещавшего мужскую школу среднего типа. Как там было все целесообразно расчленено для практической жизни,—в то время как мы, при одинаковой затрате школьного времени, топтались еще в абстрактных формулах, как будто собирались проработать науку с самого корня, чего ведь на деле совсем не было.

Я уже рассказывал, в другой связи, что отличался способностью к отвлеченному мышлению, почему и хорошо успевал в школе. На ряду с языками, которые я схватывал на лету, мне давались легко, как дешевая забава, различные отрасли математики, при неудобоваримых методах их преподавания, мне, ростом,—по выражению фрау Унгер,—от горшка три вершка. Это раз имело своим последствием веселую сцену.

Служивший тогда в Берлине членом Училищного совета Фюрбрингер, именем которого названа улица в южной части Берлина (Postbezirk, SW 29), имел обыкновение—не знаю, было ли это по предписанию—делать неожиданные посещения находившихся под его наблюдением школ. Когда он однажды таким образом неожиданно явился в класс „4-в", в это время как раз старый Лефлер, преподававший во всех классах математику, давал нам урок геометрии и об'яснял Пифагорову теорему,—эту важную теорему, которая звучит так таинственно, и все же доказывается так просто. Всем известный чертеж еще был на доске. На вопрос Фюрбрингера, кто может доказать теорему, вызвался только я один. Он меня подозвал. Я стал у доски и быстро отчеканил доказательство теоремы, что мне скорее доставило удовольствие, чем стоило напряжения. Едва я закончил излюбленным: „что и требовалось доказать", как Фюрбрингер, который из-за моего маленького роста, очевидно, считал меня значительно моложе моих лет, взял меня за вихор, поднял вверх и сердечно поцеловал. Это так обрадовало нашего Лефлера, что, когда Фюрбрингер простился и ушел, он от избытка счастья повторил со мной то же самое. Легко себе представить, как на это реагировал класс. Некоторые из моих товарищей по классу не могли себе отказать в удовольствии повторить эту сцену с комической важностью. Но Пифагорова теорема имела еще свой эпилог.

Несколько лет спустя, когда я уже перешел в высший класс, Фюрбрингер снова посетил школу и вошел в класс как раз, когда Лефлер давал урок математики. Я не знаю, что мы тогда специально разбирали; припоминаю только, что теперь уже два ученика отвечали на вопросы: некий Марэ, сын балетмейстера в Королевской опере, и я. Фюрбрингер, который при виде меня, быть может, вспомнил тот случай, смутил доброго Лефлера замечанием, что нельзя же спрашивать только нас двоих, надо же вызвать хоть раз другого какого-нибудь мальчика—„например, хотя бы этого". При этом он указал на одного из двух сыновей землевладельца из деревни Лихтенберг в восточной части Берлина. Они, несомненно, гораздо больше моего знали, но все о таких вещах, о которых узнать можно было бы не в школе; этими знаниями их головы были так заняты, что там не оставалось ни одного свободного места для математики. Лефлер покраснел и ответил,—что и соответ-

ствовало действительности: „Этот мальчик и его брат освобождены от уроков математики“. Фюрбрингер сумел тактично положить конец этой мучительной сцене.

Нечего и говорить, что отсутствие у деревенских мальчиков способности к математике для меня не служит доказательством их непригодности к жизни. Они, может быть, стали весьма практичными сельскими хозяевами. Но тогда они были неимоверно жалкими олухами, а как раз тот из них, на которого указал Фюрбрингер, проявил чрезвычайно непривлекательным образом—передаче это не поддается—высокомерие богатого над бедным по отношению к более бедному однокашнику, сыну одной вдовы. Что же касается меня, то я ни за что на свете не хотел бы создать впечатление, будто представлял собою в школе какое-нибудь особенное светило. Это во всех отношениях было бы неверно.

Не знаю, было ли у меня когда-нибудь в школе—включая и гимназию—то, что можно назвать чистой совестью; я очень склонен в этом сомневаться. Если б это хоть раз было так, это было бы во всяком случае таким исключением, что уже по одному этому оно запечатлелось бы у меня в памяти. Но память моя в этом отношении совершенно чиста. Не могу также повиниться или, если угодно, похвастать какими-нибудь особенными проступками. Напротив, как какой-то Франц Моор наизнанку, я должен признаться: „Я всегда занимался только мелочами“. Для крупных пакостей у меня прежде всего не хватало мужества. Но и мелких проступков было достаточно, чтобы во мне не угасало сознание своей вины. Насколько я себя знаю, я никогда не мог отделаться от сознания, что у меня не все в порядке, что я забыл выполнить ту или иную работу, что зря потерял время и тому подобные школьные грехи.

Конечно, было некоторое оправдание для меня в неблагоприятных условиях, в которых я вырос. Таковы: огромная семья, тесная квартира из двух комнат и кухни, недостаток средств у отца, отчего обеспечение школьными пособиями превращалось почти в неразрешимую задачу; обилие работ по домашнему хозяйству, чрезвычайно большое расстояние от школы, при моем росте и слабой конструкции ног, слабость здоровья вообще и, наконец,—и это немаловажно,—роковые препятствия, связанные с дружескими отношениями со сверстниками, уверенность в своей памяти, на которую я мог всегда, в случае нужды, положиться, и удивительно легкая способность схватывать все на-лету. Все это вместе взятое способствовало расточительной трате сил. Но это в сущности оправдывает меня только наполовину. Если бы я был другим, я бы не позволил большинству этих обстоятельств оказать на меня такое влияние.

Вот в этом-то пункте мне пришлось бы поспорить со стариком Сократом.

Прекрасно звучит требование: „Человек, познай самого себя". Но что достигается этим познанием? Дело не в том, что я себя недостаточно хорошо знал. Моя беда заключалась в том, что я слишком хорошо себя знал. В одном старинном фарсе (Гольтея), кажется, „Венцы в Берлине" (Die Viener in Berlin) слуга в одной семье, к которой пришли гости, рассказывает слуге пришедших о домашних несчастиях,—сын хозяина страдает меланхолией. Юмористически он описывает сцену за столом. Отец раздраженно делает упреки сыну, мать берет на себя роль посредника: „Оставь его в покое, папочка, он уже такой", а сын уныло вторит: „Да, папочка, оставь меня в покое, я уже—такой". Я прекрасно знал, чего мне нехватает, знал хорошо свои недостатки, но это мне ничуть не помогло, я—„уже такой". А именно, как я как-то выразился, я—„склонен к пассивности", что без нежностей означает: слабохарактерен. Другими словами, я не был попросту ленив; напротив, я не уклонялся от трудной работы, которая выпадала на мою долю, но у меня не было внутренних сильных побуждений. Отчасти это можно об'яснить моим слабым здоровьем, но я не обманываюсь насчет того, что это, в крайнем случае, одна из причин. Решающее значение имели более глубокие причины,—они лежали в моем душевном складе. Конечно, я был маленьким, слабым ребенком, я по сию пору не могу простить спартанцам того, что они, вероятно, выбросили бы меня на с'едение диким зверям, если бы я родился на свет в их эпоху. Однако, при всем этом я не знал болезней. Кости и мускулы оставляли желать многого, но внутренние органы были, как выяснилось, здоровы и способны к развитию. Поэтому, поскольку могу вспомнить, я в течение всего моего детства и юношества, за исключением кори, не болел никакой серьезной болезнью. Хотя я и был неспособен проявить непосредственно значительную силу, но там, где требовалась выносливость, мог всегда постоять за себя. Я был только натурой, склонной к мечтательности, но при этом веселой натурой. Я охотно отдавался во власть всевозможных фантазий, но точно также всегда был готов принять участие в веселых играх, а при удобном случае соединял и то и другое. И так как я к тому же унаследовал от отца значительную долю его беззаботности, то налицо были все условия для того, чтобы, несмотря на прекрасные способности и хорошую память, у меня никогда в журнале не стояло „очень хорошо", мне всегда приходилось довольствоваться простым „хорошо".

Затем учителя мне многое спускали. Я сделал наблюдение, что учителя питают известное чувство благодарности к ученикам, которые внимательно относятся к занятиям и как сле-

дует усваивают учебный материал. Как бы то ни было, за исключением одного случая, я видел от своих учителей только одно хорошее. Поэтому-то, пока я посещал школу Лефлера, я, памятуя о своих грехах, всегда с боязливым вопросом ждал перевода в следующий класс,—будет ли следующий классный наставник так же милостив ко мне, как и теперешний?

Особенно сильно беспокоил меня этот вопрос, когда я должен был перейти в предпоследний класс. Тамошний классный наставник слыл среди нас, учеников, строгим учителем и большим любителем размахивать палкой. И действительно, проходя однажды мимо класса „4-а", он увидел меня у стены и, узнав, что я уже не в первый раз опоздал на занятия, крикнул моему классному наставнику, что меня надо как следует угостить палкой, и я тогда отучился бы опаздывать. Поэтому, когда было об'явлено о переводе в его класс, у меня было чувство, немного напоминающее состояние преступника, которого ждет виселица.

Но вышло совершенно иначе. Едва ли у какого-нибудь другого учителя мне было так хорошо, как у него. Это был человек, относившийся необыкновенно серьезно к своим учительским обязанностям, не отступавший ни перед какими трудностями, когда нужно было что-нибудь об'яснить классу. Для этой цели он неоднократно прибегал к рисованию. Однажды на уроке немецкого языка, когда он проходил с нами отрывки из „Вильгельма Телля", он очень тщательно нарисовал на доске весь сценарий первого акта. В другой раз, когда во время урока закона божьего зашла речь об ученике из Эммауса, учитель прибегнул даже к помощи стены, чтобы нагляднее изобразить нам рассказ. А как хорошо он умел вдалбливать нам латинскую грамматику! Правда, в сущности говоря, это была дрессировка. Но не родился еще тот, кто мог бы в течение учебного полугодия без дрессировки научить человек 40 мальчишек латыни в об'еме установленного курса. Во всяком случае, за Лемана—так звали нашего учителя—говорил его успех. Наш Лефлер, время от времени присутствовавший на занятиях в классе, пришел в совершенный восторг, когда, посетив однажды наш класс во время урока латинского языка, услышал, как твердо мы усвоили спряжение различных форм. Впрочем, Леман, давая впоследствии пяти ученикам нашего класса,—в том числе и мне,—добровольно из'явившим желание учиться греческому языку, по субботам от двенадцати до часу уроки греческой грамматики, в течение трех месяцев без всякой дрессировки прошел с нами курс до глаголов на „ми". Для меня занятия с ним представляли собой настоящее наслаждение.

Я не знаю, какую подготовку он сам получил. Прошел ли он университетский курс или только обучался в учительской

семинарии и сам дополнил свое образование. Но в виду того, что он в нашей школе оставался лишь короткое время, я считаю вероятным, что настоящей его профессией было не преподавание, а богословие. Это он, тот учитель, о котором я в моей статье [1])—„Как становятся социалистом“—рассказывал, что однажды на пути из школы домой он остановил меня вопросом: как я, не будучи христианином, надеюсь войти в царствие небесное? А когда я ему ответил, что надеюсь достигнуть этого добрыми поступками, он задал мне новый вопрос: неужели я, желая попасть в Рим, пущусь обходным путем через северный и южный полюс и не предпочту прямого пути в Рим. Этим он заставил меня сильно призадуматься. Оставляю открытым вопрос о том, насколько здесь играл роль скрытый подход к попытке обратить меня в истинную веру; все же говорил он настолько серьезно, что предположить в его словах шутку нельзя. Впрочем, как я рассказал в указанной статье, вопрос его вызвал во мне совершенно обратное действие. Я утешил себя надеждою, что Христос, если он действительно такой добрый, каким изображает его Евангелие, простит мне и мое еврейство, раз я уже родился сыном еврейских родителей; поэтому я решил, будучи евреем по рождению, быть евреем и по-настоящему и прежде всего отказаться от употребления свиного мяса. Этому горячему решению отец мой скоро положил конец: он не обращал на него абсолютно никакого внимания, наши же домашние обстоятельства исключали какую-либо возможность того, чтобы для меня вместо свиного мяса готовилось другое.

В нашем доме Христа поминали только добром. Отец мой необыкновенно высоко ставил нагорную проповедь. А мать моя об‘ясняла нам, что Христос хотя и не бог, но был исключительно возвышенной души человеком. Однако, как мои родители, так и мои старшие братья и сестры, а впоследствии и я сам предпочитали отягощенному догмами христианству (обоих главенствующих исповеданий) свободную от догмамов и обрядностей веру в бога, которой учили в реформированной еврейской общине.

УЧИТЕЛЬ ЛЕМАН И ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ

Считая своим долгом заявить, что учитель Леман, которому я столь обязан, никогда меня пальцем не тронул, я должен прибавить, что он вообще не был тем рыцарем палки, каким я его считал перед тем, как попал в его класс. Он только

---

[1]) Entwicklungsgang eines Socialisten,—т. I. „Современное учение о народном хозяйстве в изложении самих авторов“—Die Volkswirtschaftslehre der Gegenwart.,—Leipzig. Felix Meiner. 1924 г.

любил помахивать палкою и стучать ею по столу, когда хотел особенно внушительно заставить нас запомнить какое-либо „предложение". Он лишь изредка опускал эту палку на спину какого-либо невнимательного или чрезмерно шаловливого мальчика. Однако и известный впоследствии востоковед Поль де-ла Гард, когда он в шестидесятых годах прошлого столетия был преподавателем в Вердерской гимназии в Берлине, также не отказывался от применения время от времени телесных наказаний. Соответственно мрачному юмору, ему свойственному, сей ученый муж даже не без удовольствия заставлял учеников восчувствовать тяжесть его длани: он раздавал пощечины, которые вовсе не считались наказанием, а лишь мерой „пресечения преступлений".

Уже тогда мне казалось, что это переходит границы допустимого в области телесных наказаний, хотя я тогда еще ничего не слыхал о принципиальном осуждении телесных наказаний в деле воспитания и тем паче не смел бы и подумать о столь радикальном отрицании их. Я должен даже признаться, что, наоборот, еще до сих пор не вполне убежден в том, что в деле воспитания телесные наказания безусловно должны быть изгнаны. Конечно, их можно заменить другими, например, лишением удовольствия и т. п. Когда мне самому пришлось воспитывать детей, я этим и ограничился, а между тем не раз случалось, что мне приходилось себе задавать вопрос, не достигло ли бы легкое телесное наказание скорее успешных результатов и не было ли бы оно для ребенка менее горьким, нежели придуманное наказание.

Лучше всего, разумеется, обходиться без наказания, и к этому следует стремиться. Однако, это возможно лишь при таких обстоятельствах, которые теперь встречаются,—как в семье, так и в школе,—лишь в самых редких случаях. Если же применять наказание необходимо, то во всяком случае следует делать это, приспособляясь к детской психике. Если ребенок, в данном случае ученик, знает, что он заслужил наказание, он легче всего с ним примирится, если оно не превысит известных пределов. Не так давно в одной из берлинских народных школ учительница оставила провинившегося мальчугана после класса в школе и задала ему, кроме того, в виде наказания, письменную работу. Последняя показалась мальчугану несколько сложной и затруднительной. Некоторое время он над нею старался, потом вдруг поднял руку. „Чего тебе?"—спросила учительница. Мальчишка жалостно попросил ее: „Пожалуйста, лучше побейте меня!"

Нечего и говорить, что учительница этого не сделала. Она сменила гнев на милость и отпустила мальчика домой, прочтя ему соответственное нравоучение. В его милой и наивной просьбе ведь заключалось признание того, что наказание он

собственно заслужил. И для настоящего мальчика быть поколоченным представляется вполне естественным и примириться ему с этим легче всего. И когда я оглядываюсь назад на свою собственную жизнь, мне нередко приходит мысль, что вряд ли мне особенно повредило бы, если бы меня тоже когда-либо „лучше бы поколотили". Во всяком случае, я бы тогда не так боялся побоев.

★

Кроме врожденного слабосилия, многие внешние обстоятельства способствовали тому, что я никогда не был озорником.

Развитие наше определяется бесконечным множеством обстоятельств, окружающих нас. Сами по себе незначительные, они тем не менее оказывают на нас подчас весьма глубокое влияние. Если я скажу, что вместо ранца, на покупку которого у моих родителей нехватало средств, у меня было нечто вроде сумки, в которой я носил школьные принадлежности,— это может показаться несущественной подробностью. Но какое огромное значение это имело на деле! Мои товарищи, перекинув ранец за плечи, были вольны действовать руками по своему усмотрению, идя в школу или домой,—я вынужден был следовать своим путем в качестве пленника своей сумки, у которой не было даже ремешков. А так как руки у меня не достаточно длинны, чтобы как следует обхватить сумку, то мне, кроме того, приходилось напряженно следить, как бы из нее не выпала та или иная книга. Это заставляло меня совершенно иначе ходить и двигаться, нежели другие мальчики. Я не мог, когда мне этого хотелось, с ними шалить и драться. Перейдя в привычку, эта вынужденная сдержанность оказывала обратное действие на душу и поддерживала во мне немалую долю боязливости, которая лишь благодаря также не малой доле легкомыслия не перешла в подлинную угодливость.

НЕУДАЧНАЯ КЛАССНАЯ БОРЬБА

Легкомыслие мое проявилось, когда я перешел в последний класс, в котором наставником был сам Лефлер. Так как обязанностей на нем в качестве заведующего школой лежало немало, то классная жизнь шла бурно. Будучи в том возрасте, когда их принято называть башибузуками, большинство мальчиков из всех сил старалось оправдать это почетное название, и не упускало случая устраивать проказы человеку, который имел все основания на уважение, как истинно добрый и в высшей степени гуманный наставник.

Вероятно в виде компенсации за часто пропадавшие, из-за его директорских обязанностей, часы Лёфлер давал нам осо-

бые уроки по средам и субботам от двенадцати до часу. Среды—по математике, субботы—по истории. Причем летом преподавалась древняя, а зимою новая история. Из древней он читал нам историю греков и римлян, из новой же—историю Бранденбурга и Пруссии от эпохи курфюрстов до освободительных войн, включая и историю французской революции. Древнюю историю он преподавал нам, примерно, по Фукидиду, Плутарху, Ливию и Тациту, а новую историю читал с точки зрения просвещенного пруссачества эпохи Фридриха Великого. О понимании истории не могло быть и речи, исторические события излагались в виде анекдотов и уснащались анекдотами об отдельных личностях. Тем не менее, все было проникнуто духом протестантского просвещения и либерализма германских классиков. Зубрением наизусть хронологии и т. п. нас не удручали,—добрый старик ограничивался изложением, которое он старался сделать по возможности ясным, и когда он говорил о каком-нибудь событии, то умел придать изложению большую выразительность. Казалось бы, что всякий не вполне об'идиотившийся ученик должен был смотреть на эти уроки истории как на желанный придаток, и ценить их. Однако, что поделаешь с озорниками в возрасте тринадцати-четырнадцати лет!

Вероятно потому, что эти часы ему нужны были для административных дел, в последнюю среду каждого месяца Лефлер обычно пропускал уроки математики, что каждый раз с восторгом приветствовалось классом, как „usus“ [1]). Однако, аппетит развивается по мере еды, и вот класс стал требовать этой поблажки вначале и в другие среды, а затем и по субботам. Классы находились в надворных строениях, тогда как в корпусе, выходящем на улицу, расположены были только лавки и частные квартиры. Вероятно, поэтому Лефлер в 12 часов пополудни и в 4 часа после обеда, когда ученики потоком выходили из школы, становился у выходной двери переднего корпуса и подавал каждому ученику руку; этим он добивался того, что выход учеников происходил в некотором порядке и без чрезмерного шума. Когда поток прекращался, он отправлялся в задний корпус, обходил расположенные в нижних этажах классы, убеждался, что там все в порядке, и тогда, если только ему не нужно было почему-либо задержаться в одном из классов, он возвращался к себе на квартиру в передний корпус.

В мое время, когда он возвращался в надворный корпус, весь старший класс встречал его по средам и субботам во дворе кликами и просьбами „Usus“, „Usus!“ В очень жаркое время и если случалось что-либо необыкновенное, настойчивое

---

[1]) „Usus“—по-латыни обычай.

повторение просьбы достигало цели. Однако, если Лефлер хотел довести до конца задание, поставленное им на каждое полугодие, он, конечно, не мог каждый раз соблюдать „узус". Для нас, однако, соображения такого рода не существовали. Не знаю, происходили ли подобные дела и раньше, или быть может, мои однокашники были особенно боевым поколением, но в одну из сред, когда Лефлер проявил во дворе полную неумолимость, класс, водворившись в комнате для занятий, держал военный совет относительно того, какими искусственными средствами возможно добиться соблюдения „узуса". Один из наших отчаянных сорванцов нашел средство: „Лефлер чрезвычайно чувствителен насчет пыли", сказал он, „напустим же столько пыли, чтобы ему пришлось уступить". Этот его совет получил полное одобрение. На какие только шалости ни готовы школьники в этом возрасте! Им хватает ума для того, чтобы выдумать и выполнять всевозможные шалости, но не хватает разума, чтобы правильно оценить смысл и значение их. В данном случае с внешней стороны дело было довольно невинное, но с точки зрения моральной весьма непристойное. Класс поднял пыль столбом в буквальнейшем смысле слова. Каждый из нас изо всех сил возил платком по полу, и когда Лефлер вошел в двери класса, он увидел перед собой густое облако пыли. „Боже мой, что же здесь такое!" воскликнул он в ужасе. Но в ответ услышал лишь повторные просьбы „Usus!" „Usus!" Несколько растерявшись и не сообразивши в первый момент, в чем дело, он уступил, и класс торжествовал. Так как на этот раз предприятие наше так блестяще удалось, попробовали повторить его в следующую субботу. То обстоятельство, что на этот раз должна быть не математика, а нисколько не утомительная, наоборот, даже занимательная история, ничего не значило. Часом учения меньше—вот главное.

Однако, на этот раз дело сорвалось. Такой маневр удается лишь раз. Когда настал урочный час, Лефлер, правда, застал класс окутанным в еще более густое облако пыли, но на этот раз он не растерялся. „Вниз, в класс 4-б", скомандовал он. И ученикам, в свою очередь растерявшимся, не оставалось ничего другого, как последовать за ним в указанный класс, расположенный в нижнем этаже, и там выслушать лекцию о походах кимвров и тевтонов на Рим и о поражении, нанесенном им Марием при Aquae Sextiae. Я не думаю, чтобы большинство моих одноклассников с особым вниманием следило за историей этого первого столкновения между германцами и римлянами. Поражение, нанесенное им самим Лефлером, огнем горело в их душах. Их Марий уже замышлял мщение и к следующей среде он действительно успел измыслить план, обещавший дать полное удовлетворение.

Он изложил его нам следующим образом:

„Мы подождем, пока Лефлер обойдет нижние классы и пойдет по лестнице из 6 класса вверх, тогда мы тихо-тихо спустимся по лестнице в класс 4-б, усядемся там и будем сидеть все смирно, пока он не закончит обхода и верхнего этажа. Не найдя никого в нашей комнате, он, наверное, пойдет к себе в квартиру, а мы тогда убежим и завтра скажем: „мы думали, что теперь уроки всегда будут происходить в классе 4-б“.

Настоящая школьная стратегия, на вид хитроумная, но мало обдуманная в смысле конечных результатов. Однако, план этот снискал одобрение большинства и был претворен в действие. Участвовал в выполнении его и я, хотя для меня в сущности математика была любимым предметом. Мы перешли к алгебре и занимались уже квадратными корнями и уравнениями первой степени, вызывавшими во мне большой интерес. Поэтому я ничего не имел бы против того, чтобы урок состоялся обычным порядком. Но я был в том смысле мальчуган, что ничто не казалось мне более позорным, чем нарушить товарищеские планы. Поэтому я последовал за большинством и вел себя, как все остальные, и тихо прислушивался, пока мы сидели в классе „4-б“, как Лефлер обходил верхние классы, слушал затем, затаив дыхание, как он вошел в наш класс, ожидая вместе с другими, когда он оттуда вышел, что он вернется в свою квартиру, и разделил общее разочарование, когда вместо этого он энергичными шагами спустился с лестницы, срыву открыл двери класса „4-б“ и грозным голосом воскликнул: „Сию минуту наверх, озорники вы этакие!“

Предатель или, вернее, предатели не дремали. Двое из наших товарищей, не особенно хорошо учившихся, остались наверху и выдали нас. Отомстили им за это впоследствии или нет, я не помню. Я больше не интересовался вопросом и не имел ничего общего с этими мальчиками. Что касается нас, грешников, преступивших школьные законы, то мы отделались сравнительно легко, как всегда бывает при массовых выступлениях мальчиков. Когда мы подымались по лестнице, Лефлер, вооруженный камышевою тростью, стоял на верхней площадке, настолько узкой, что подыматься там можно было по одному, и каждому проходившему мимо него он отвешивал удары по спине. Со мною он обошелся еще милостивее. Когда я оказался перед ним, он поглядел мне в лицо, видимо ожидая от меня об‘яснения или извинения; я, однако, молчал и только опустил глаза, после чего он мягко коснулся тростью моего плеча и пропустил меня, не отвесивши удара. Мне же было так стыдно, что я бы ему охотно крикнул: „Лучше поколотите меня“.

В сущности говоря, вся эта штука была подлинной гадостью по отношению к заслуженному учителю, не говоря уже о глупости ее. С тех пор и в течение долгого времени не было и речи о том, чтобы клянчить „Usus". Эта „классная борьба" была основательно проиграна.

НЕУДАЧНАЯ ПЕДАГОГИКА ИСТОРИИ

Прибавлю еще несколько слов о преподавании истории Лефлером. Я говорил уже, что в сущности он преподносил нам историю в виде анекдотов, по отношению к религии придерживался протестантски-либерального духа, в политическом же отношении, особенно относительно нового времени, строго сообразовывался с официальным прусским освещением событий. Поэтому при рассмотрении французской революции он высказывал прямо-таки мещански-консервативные взгляды. Но особенно в этом вопросе на него влияли соображения, вызванные происходившим как раз в то время в Пруссии конституционным конфликтом. В рассмотрение самого конфликта он, правда, не вдавался, но выводы и заключения из тех учений, которые он выводил для нас на примерах революции, должны были служить моментом, отпугивающим нас от радикальной оппозиции, чтобы не дать нам увлечься разными учениями политической прессы, которая — так гласил лозунг правительственных органов во время конфликта — издавалась людьми, ничему толком не выучившимися. Так например, он рассказывал, что один из его однокашников, в свое время провалившийся на экзамене на аттестат зрелости, был теперь главным редактором большой политической газеты. Вслед за сим приводился Шиллер с его стихами и песней о „Колоколе" по поводу ужасов французской революции.

Тогда святого—нет уж боле:
Покинул скромный стыд людей,
Пороки царствуют на воле,
Над добрым высится злодей.

. . . .

И горе тем, кто светоч рая
Слепцам от вечности вручит!
Не свет, но пламень разливая,
Он грады, страны пепелит.

Как ни принимал старик все это всерьез, впечатление, производимое на класс, было чрезвычайно слабо. Нельзя сказать, чтобы мы вовсе этим не интересовались. Ведь дело касалось вопросов, составлявших злобу дня, и мы были так или иначе осведомлены о них от окружающих взрослых. Однако,

в большинстве случаев обсуждение в семье происходило в духе, очень враждебном правительственному. Одноклассники мои принадлежали по большей части к семьям мелкого и среднего мещанства, а в то время круги эти в Берлине были настроены весьма оппозиционно. Конфликт партии с правительством достиг такой остроты, что разрешить его путем компромисса представлялось весьма мало вероятным. Таким образом, поговаривали о возможности новой революции; освежались воспоминания о революционном 1848 г., отстоявшем всего лишь на полпоколения. Там и сям в тесном кругу распевались революционные песни того времени. Неужели контр-революционные исторические рассказы Лефлера могли одержать верх? На переменах класс вел по этому поводу беседы, и за малым исключением—серьезно возражал всего один лишь ученик, сын полицейского чиновника—там торжествовал тот взгляд, что Лефлер, конечно, очень хороший человек, но дело, вероятно, обстоит совершенно иначе, нежели он себе представляет. Глубже заглянуть в вопрос никто из нас не умел. Лишь немногие имели сколько-нибудь ясное представление о том, в чем собственно заключался конфликт.

К тем немногим, которые живо интересовались вопросом, принадлежал и я. Газета, получавшаяся у нас дома, была „Berliner Volkszeitung“, основанная моим дядей Ароном Бернштейном. В ней ежедневно появлялись передовые на животрепещущие темы. Газета была одним из застрельщиков в конституционном конфликте, и я, обуреваемый жаждой чтения, поглощал каждый номер, случайно попадавший мне в руки. Мне также недоставало многих примитивных сведений, необходимых для правильной оценки значения происходившего,—но все же я был достаточно в курсе дела, чтобы понять, какого рода события этим вызывались. Однажды произошло следующее. Берлинский „Kladderadatsch“, остроумный юмористический журнал того времени, поместил в одном из своих номеров иллюстрацию, представляющую едкую карикатуру на какое-то правительственное мероприятие,—кажется, на знаменитый декрет об оппозиционной прессе. Стоя у окна лавки, где был выставлен номер журнала, я подробно излагал товарищу моему Алексу значение рисунка, как вдруг какой-то господин, стоявший позади нас и молчаливо вслушивавшийся в наш разговор, воскликнул в негодовании: „Такие карапузы тоже занимаются политикой!“ и быстрыми шагами удалился. Несомненно, он считал меня много моложе, нежели я был на самом деле,—это случалось со всяким, кто меня знал не близко. Но и без того восклицание его произвело на Алекса и на меня такое смехотворное впечатление, что мы расхохотались и впоследствии часто вспоминали и передразнивали его для собственного увеселения.

ОЗОРНАЯ ВЫХОДКА

Таковых было впоследствии немало. Одну из них приведу, так как она чуть не привела к драматической сцене.

В нашем классе за огромной кафельной печкою,—она топилась только зимой,—хранилась большая бутыль с чернилами, из которой наливали чернила, необходимые для разных классов. Однажды, после обеда, бутыль эта оказалась почти пустой, а на стене за печкою обнаружены были огромные чернильные пятна. О несчастном случае речи быть не могло. Совершенно было ясно, что налицо имелось намеренное действие. И действительно, при расследовании дела оказалось, что штуку эту проделал один из худших озорников в классе, сын владельца крупной мясной лавки на Лейпцигской улице. Если бы это была просто невинная шалость, я бы, конечно, вполне его понял,—настолько мальчишества было и во мне. Однако, дело само по себе было настолько безобразно, так ясно было, что налицо имелось желание произвести порчу, что ни один мальчик, если только он был в состоянии разумно соображать, не мог бы оправдать действия провинившегося. Тем паче должна эта выходка была вызвать гнев учителя. „Слушай, как ты это сделал?“, с трудом сдерживая возмущение, спросил Лефлер у стоящего перед ним преступника, который был уже в таком возрасте, что мог осознать характер своего поступка. Виновный должен был так же, как и все мы, видеть, что старик с трудом сдерживался; тем не менее, он ответил прямо-таки с удивительным хладнокровием, не прибавив ни одного слова в свое извинение и не выражая и тени сожаления о содеянном: „Что ж, я стал вот сюда и так вот все брызгал из бутылки на стену“, при этом он пояснял свои слова жестом. Наступила тревожная пауза. Мы заметили, что нахальство озорника привело нашего Лефлера в необычайное ожесточение, и приготовились к тому, что виновному предстоит жестокая порка. Но вышло иначе. Некоторое время старик тяжело дышал, побеждая в себе сильное волнение; затем он обратился дрожащим голосом к озорнику, который тоже не особенно весело поглядывал перед собой: „Благодари создателя, мальчик, что я слишком взбешен, иначе тебе пришлось бы так же скверно, как скверен твой поступок. Садись!“ Виновный, как ошпаренный, вернулся на свое место. Остальные облегченно вздохнули.

Впоследствии я удивлялся, как это класс воздержался от всякого выражения того или иного отношения ко всему происходившему. Стать по существу дела на сторону учителя— этого невозможно было ожидать при раз навсегда господствовавших среди мальчиков взглядах, но самообладание учителя должно было бы вызвать у нас знаки одобрения и признатель-

ности. На многих из нас поведение Лефлера произвело сильное впечатление и некоторых, в том числе и меня, сильно потрясло. Однако, никто не решился проявить своего отношения, хотя в данном случае это вовсе не значило бы встать на сторону учителя. Почему же не раздался бурный взрыв одобрения, как это несомненно имело бы место во всякой другой стране при подобном акте трогательного самообладания со стороны учителя? Мне кажется, я не ошибусь и не совершу несправедливости по отношению к кому бы то ни было, если эту неуместную пассивность отнесу к тому целыми поколениями воспитанному в прусском народе духу, который Генрих Манн в своем известном романе назвал духом верноподданничества. Отличительными чертами этого духа является, прежде всего, отсутствие самостоятельности в суждениях, что со своей стороны служит причиною неспособности к инициативе. Дух этот существовал и продолжает свое вредное существование в среде молодежи, которой он различнейшими путями передается по наследству от старших поколений. Пробегая в памяти свои школьные годы, я в этом отношении вспоминаю удивительно много примеров, когда однокашники мои и я сам,—меньше всего я желаю выставить себя в виде исключения,—дали себя покорить этому духу. Приведу здесь еще один случай, впоследствии долго горевший огнем у меня в душе. Произошел он в пятом классе Вердерской гимназии.

ПОНЯТИЕ О ЧЕСТИ В ПЯТОМ КЛАССЕ

Учитель математики, по фамилии Юнг, отличался вообще ангельским терпением и скромностью, но однажды и у него лопнуло терпение из-за одного ученика, который вел себя по отношению к нему самым вызывающим образом,—в ответ на новую дерзость Юнг дал ему оплеуху. По этому случаю пятый класс почувствовал свою честь глубоко задетою и подал директору подписанный всем классом протест с жалобой на учителя. Не за то ли, что он применил телесное наказание? О нет, против него мы принципиально не возражали, а возмущены были тем, что учитель позволил себе поднять руку на ученика пятого класса. То обстоятельство, что в том классе, в котором мальчики предполагались настолько зрелыми и воспитанными, что к ним обращались на „вы“, ученик позволил себе вести себя по отношению к пожилому уже учителю с чрезвычайной наглостью,—это чести класса нисколько не задевало. Того именно, что следовало сказать, в жалобе сказано не было. Профессор Юнг очень тонко дал нам это почувствовать, когда директор познакомил его с содержанием нашей жалобы. „Само собой разумеется,—

сказал он нам,—что я жалею о том происшествии, по поводу которого вы возбудили жалобу. Не могу, однако, скрыть от вас, и вы, вероятно, вполне меня поймете, что ваша жалоба возбудила во мне еще большее сожаление".

Он произнес это так спокойно и со столь явным оттенком печали в голосе, что нельзя было не заметить, как глубоко огорчило его наше поведение. Я охотно надавал бы сам себе пощечин за то, что поставил свою подпись под явно непристойной бумагой, и прямо высказал это товарищам, сидевшим поблизости от меня, и никто из них особенно не протестовал. Большинство, подобно мне, дали себя уговорить поставить свою подпись, не вдаваясь глубоко в сущность происшедшего. То обстоятельство, что низость была совершена по отношению к исключительно добродушному учителю, находилось в полном соответствии с каждодневным опытом каждого в его школьной жизни.

Когда я прошел у Лефлера курс старшего класса, родители мои не знали толком, что со мною делать. Я был слишком мал и слабосилен, чтобы вступить в практическую жизнь, а более чем ограниченные средства моих родителей ставили под большое сомнение вопрос о возможности продолжать образование. Поэтому меня оставили еще на полгода в классе. Это повело вот к какому результату: так как мне учиться там было нечему, то я изленился по всем правилам искусства.

В ВЕРДЕРСКОЙ ГИМНАЗИИ

В доме Якова Бернштейна в течение летних месяцев 1862 г. выпало много радостных дней. Друг семьи Бернштейнов,—понимая слово семья в широком смысле,—уехавший в молодые годы в Америку и добившийся там того, что стал участником в большом ньюйоркском торговом деле, приехал на побывку в Берлин, познакомился с моей старшей сестрой, влюбился в нее и обручился с ней. Он был младшим братом товарища по учебным годам дяди моего Арона Бернштейна и после смерти своего брата, который был в то время и кормильцем его, он был принят в семье дяди как свой. Обладая большой душевностью, он поддерживал письменные связи с друзьями умершего брата, а когда он обручился, друзья эти стали часто собираться в нашем доме, где царило в таких случаях самое непринужденное веселье. Материальные блага, которыми мои родители могли потчевать гостей, были весьма скромны, и тем большую роль играли для гостей пение и музыка. Народные песни и арии из популярных опер поддерживали повышенное настроение.

Двое из этих друзей были преподавателями по профессии и с ними советовались на счет моего будущего. Их совету,

а также опыту, уже проделанному с моим братом Максом, я обязан тем, что мои родители решили отдать меня при малейшей возможности в гимназию. Возможность эта явилась благодаря семейному фонду, в котором моя мать имела небольшую долю, и летом 1863 г подано было заявление о приеме моем в Вердерскую гимназию, расположенную в то время на „Вердерском рынке", наискось от теперешнего крупного универсального магазина Герзона.

Приемные экзамены, благодаря всяким случайностям, привели к результатам, оказавшимся роковыми для всей моей дальнейшей жизни. По большинству предметов, требующихся для поступления в шестой класс (untertertia), куда было подано прошение, я был больше, чем подготовлен, и непременно выдержал бы испытания в этот класс, если явился бы в назначенный день; тогда явилось экзаменоваться много мальчиков, менее подготовленных, чем я, и все они попали в untertertia. Но мать моя, которая должна была пойти со мной в гимназию, не могла в тот день отлучиться, и когда мы явились на следующий день, кроме меня экзаменовался еще один мальчик, далеко не подготовленный для поступления в untertertia; при каждом почти вопросе он запинался, так что меня охватило сострадание, свойственное школьникам, и я не устоял против соблазна подсказать ему. Это привело к беде. Учитель, экзаменовавший нас, заметил это и пришел в чрезвычайную ярость; когда же оказалось, что я не был особенно тверд в греческом, которым я, после немногих уроков у Лемана, не занимался уже полтора года, он так загнал меня по этому предмету, что я совершенно спутался и на многие вопросы не мог ему ничего ответить. При других обстоятельствах он, вероятно, дал бы мне передержку по греческому, и я бы, несомненно, выдержал ее через несколько недель, но, будучи против меня раздражен, он положил резолюцию: подлежит приему в Graeca Quarta (низший класс), и я поступил в класс, в котором мне не приходилось ничему учиться и только кое-когда заглядывать в учебники. У Лефлера учили с нами по-латыни отрывки из Цезаря, Ливия и Цицерона, по-французски вольтеровского Карла XII, а тут нас изводили по-латыни Корнелием Непотом, а по-французски—отрывками из хрестоматии для младшего возраста. Та же несообразность проявлялась и в греческом и в математике. Если бы у меня не было провала в знаниях по второстепенному предмету, которому в классической гимназии не придают большого значения, и если бы я не ленился дома, то не было бы никаких причин перевести меня через несколько недель в untertertia, так как через несколько недель я по-гречески считался одним из лучших учеников. Но мы тем временем переехали с прежней квартиры на улицу Иоганнитов у Галльских ворот, и так как дорога

в гимназию благодаря этому значительно удлинилась, то условия времени и места стали значительно менее благоприятными для развития во мне усидчивости и трудолюбия. Таким образом я провел еще полгода в Graeca Quarta, и так как оба эти отделения требовали целого года работ, то мне уже исполнилось почти шестнадцать лет, когда осенью 1865 г. я, наконец, перешел в untersecunda.

С весны 1864 г. меня стали посылать на уроки закона божьего в еврейскую реформированную общину. Закон божий преподавался три дня в неделю во флигеле при синагоге. Эта община была расположена в северной части Берлина, недалеко от Ораниенбургских ворот. Легко вообразить, как много времени занимало у меня как хождение туда и обратно, так и время уроков, и насколько поэтому у меня мало оставалось времени для домашних работ. К этому прибавились и некоторые препятствия, о которых речь впереди, и, таким образом, я в гимназии был и остался весьма посредственным учеником в отношении домашних работ и подготовки уроков.

В остальном же у меня в гимназии дела шли не плохо. Скорее мог бы я иметь основания жаловаться на качество некоторой части учительского состава.

Как сам директор Боннель, который вскоре после моего окончания гимназии вышел в отставку за выслугой лет, так и много других преподавателей и классных наставников успели одряхлеть от старости, что для меня, занимающегося почти исключительно в классе, было весьма неблагоприятно. Действительно, дельного учителя я встретил в гимназии только в лице профессора Клеменца, впоследствии директора Луизинской гимназии, где он оставил наилучшие о себе воспоминания. Он был энергичен, трудоспособен и принимал вопросы преподавания весьма близко к сердцу. В мое время он был классным наставником в untertertia, и некоторые ученики доставляли ему такое удовлетворение, что он открыто называл их в классе своими „любимчиками“. Но прозвище „любимчик“ давалось школьниками своим сотоварищам, выделяемым не по заслугам учителем. В данном же случае от них требовались действительные знания, и, как нам рассказывали учившиеся после нас, Клеменц впоследствии восклицал, когда класс чего-либо не знал: „О, любимчики мои, любимчики мои, где-то вы теперь?“ К тем, кого он так называл, принадлежали, между прочим, два сына известного берлинского врача Керте, Густав и Вернер. Первый из них, часто сидевший со мною рядом на парте, теперь служит преподавателем, если я не ошибаюсь, восточных языков, а второй—известный хирург, стоящий во главе Урбанской больницы в Берлине. К „любимчикам“ принадлежал и германист Густав Редигер и умерший в 1900 г. ландрат Тельтовского округа Эрнст Шту-

бенраух. Несмотря на мои недостатки, я тоже мог быть „почти" причислен к любимчикам;—к слову сказать, „почти" для меня одно из самых неприятных понятий Как бы то ни было, untertertia—тот класс, в котором я лучше всего чувствовал себя в Вердерской гимназии. Здесь, по крайней мере, я кое-чему научился вдобавок к тому, что уже знал; когда делались классные работы, в большинстве случаев я принадлежал к числу лучших, и опять-таки „почти что" перешел с похвальным отзывом в obertertia. В этом классе жилось мне хотя и хуже, но все же сносно. Я все еще мог с уверенностью полагаться на мою сообразительность и хорошую память, и когда однажды во время латинского урока я предложил в одном отрывке из Цезаря перевести etiam иначе, чем обычным „также", учитель спросил меня при всем честном народе, почему я не числюсь первым учеником. Учитель этот был человек добродушный и как преподаватель во многом уступал профессору Клеменцу. Однако, в то же время я стал предаваться всякого рода фантазиям, в том числе и рифмоплетству. Уже несколько лет до того я однажды целый день сочинял стихи на пари с моим другом Отто и изготовил в течение двух часов четыре „стихотворения", между тем как он в то же время соорудил лишь два, после чего мы с ним пришли к заключению, что из меня выйдет со временем творой Шиллер, а из него „всего на всего" лишь второй Гете. Ибо легко себе представить, что автор „Фауста" расценивался нами, мальчишками, много ниже певца „Пловца" и „Боя с драконом".

Экскурсии на Парнас создали мне немалую славу, но впоследствии навели на меня подозрения, на некоторое время отбившие у меня всякую охоту к стихосложению. В некоем домике, расположенном над выгребной ямой на краю нашего двора, в один прекрасный день оказались нацарапанными на стене рифмованные надписи непристойного содержания, вызвавшие общее негодование у жителей дома. Судили и рядили, чтобы отыскать автора этого произведения, пока одна из женщин, живших в доме, не об'явила, что сделал это „не кто иной, как Бернштейнов Эдвард,—он всегда такие стишки сочиняет".

Можно себе представить, как я был убит, когда мне об этом передали. Я—и „такие стишки"! В то время я всецело обретался душою в мире классических произведений немецкой поэзии, и ничего не могло быть для меня более чуждого, нежели непристойность, которую я к тому же большей частью не был в состоянии понять. Стихи, сочиненные мною в тот день на пари и затем на следующий день прочитанные во всеуслышание соседям, составляли своего рода цикл и изображали нападение в лесу, а затем дело мщения, раскаяния и в конце

концов примирения. Все это—в возвышенных этических тонах, как и приличествует гимназисту, основательно познакомившемуся с нравоучительной литературой для низших классов школы. И вдруг говорят, будто я сочинил непристойные стихи и нацарапал их на стене! Это было убийственно, и хотя меня и пальцем не тронули, но я пролил немало слез.

Все это затем отошло в прошлое; на меня снизошел иной дух. Правда, мне все же и в голову не приходило испробовать свое искусство на непристойности, но я расширил свой горизонт. Стремление к рифмоплетству обуяло меня до такой степени, что мне казался пригодным для поэтической обработки всякий предмет. Так, первое стихотворение, сочиненное мною в бытность мою в гимназии, изображало в юмористическом свете некоторое происшествие, не лишенное серьезной стороны, но произведшее на нас, учеников, скорее комическое впечатление вследствие неуклюжего пафоса, которому учитель предавался при обсуждении его. Однажды замечено было исчезновение книг при таких обстоятельствах, которые заставляли предполагать кражу, и действительно оказалось, что кража и была; виновного исключили из школы. Можно, пожалуй, спорить о том, правильный ли то был выход из положения. Впоследствии мне об исключенном мальчике пришлось слышать, как несомненный факт, что он торговал собой и пытался соблазнить сверстников, уговаривая их поступать так же, как и он. Исключение из школы заставило его опуститься еще ниже. Конечно, мы в то время всего этого и не подозревали, стихотворение мое относилось не к самому факту кражи, а только к несоразмерным по пафосу разглагольствованиям учителя. Произведение это послужило причиной оказанной мне необыкновенно высокой чести, когда ученики последнего, восьмого, класса, повидимому, услыхавши от младших братьев о стихотворении, явились ко мне и пригласили меня, ученика шестого (!) класса, притти к ним и прочесть вслух у них во время переменки свое произведение, что я, конечно, исполнил. При своем карликовом росте я взирал на восьмиклассников с сугубым почтением.

Впрочем, в то время в старших классах Вердерской гимназии юмористические стихотворения, с которыми мое произведение отнюдь не могло сравниться, передавались по наследству из поколения в поколение. Одно из них — пародия на „Песнь о колоколе“ Шиллера сочинено было одним из членов семьи Бисмарков,—имени его не помню, но знаю, что то был не Отто. Стихотворение было довольно удачное.

Например, изображение смятения в классе, увлекшемся дракой в тот момент, когда приходит учитель:

Все бегут, мелькают пятки,
На скамье лежат десятки;

Словно птица,
Чья-то шляпа вниз стремится и т. д.

Судя по фамилии одного учителя, названного в начале произведения, стихотворение должно быть написано задолго до моего времени, однако не раньше 1818 г., так как в нем упоминается уже латинская грамматика Цумпта. Начало его таково:

Бамфей недвижим, подобно
Обожженному горшку,
„Косвенный вопрос“ сегодня,—
Значит, будьте на-чеку.
Цумпта мне сюда!
Я же, господа,
Дух переведу от пыли:
Ишь, какую напустили!

Пародия, написанная в более позднее время, изображает педагогический совет, закончившийся общей потасовкою. Она написана в подражание одной из песен из Метаморфоз Овидия и начинается так:

Consedere duces [1]) и педель Штанге, сверкая
Красным камзолом, у двери стал, тот самый, который
Гибкой лозой третьеклассников порет и т. д.

Жезл педеля Штанге и его рдеющий огнем камзол еще живы в моей памяти. Героя этого я еще хорошо знал, но так как я поступил прямо в пятый класс Вердерской гимназии, да и там пробыл всего полгода, то не могу похвастать знакомством с классической палкой сего достойного мужа. Очень мило описаны некоторые из учителей, например братья Юнг, преподававшие в старших классах и во всех отношениях резко друг от друга разнившиеся. Описаны они были в гекзаметрах следующим образом:

Н-ну-с, младший из Юнгов обоих, который снотворной
Речью своею на школьников сон такой нагоняет,
Что, погруженные в сон, они не слышат ни слова
О степенях и корнях.

Младший Юнг прозван был „Н-ну-с“ за тягучее носовое произношение в обычной фразе „Н-ну-с, начнем“. Он был добродушным, честным учителем, но не умел преподавать достаточно интересно свой предмет—планиметрию и алгебру и поэтому пользовался славой великого усыпителя. Кто не мог следить за его изложением, выдумывал каверзы, какие только мог устроить этому уже немолодому человеку, и поэтому-то

---

1) Уселись вожди.

уроки его принадлежали к числу тех, на которых всякую минуту что-либо „случалось“, в том числе и рассказанный выше случай с оплеухою ученику предпоследнего класса, кончившийся так плачевно.

Совсем другим был „Старик“, т.-е. старший Юнг. Высокого роста, коренастый, он принадлежал к тем учителям, у которых ничего особенного никогда не случается, т.-е. к тем, которые умеют в самом начале, благодаря энергичному и вместе с тем спокойному вмешательству, подавлять в самом зародыше всякий беспорядок. Мы у него учились немецкому языку и истории. Во время уроков немецкого языка, когда проходилось кое-что из литературы, меня поражало, как он умел справляться с опасными местами в рассказах, где затрагивались вопросы половой жизни, причем обсуждал их так просто и без всякого жеманства, что мальчикам лет 15—16, склонным в таких случаях хихикать и пересмеиваться, не представлялось ни малейшего повода к этому.

Характерен следующий эпизод в ином духе. В моем классе мы имели право сами выбирать стихотворения для заучивания наизусть и для декламации вслух перед классом, с предварительного, однако, учительского контроля—в данном случае преподавателя Клеменца. Один из мальчиков выбрал стихотворение Теодора Кернера; имя этого поэта могло считаться для дебютанта настолько благонадежным, что контроль применен не был. Когда однако мальчик в назначенное ему время стал декламировать:

Я молод и горяч, друзья...
Все б целоваться стал!
А между тем ни разу я
Еще не целовал.

Клеменц ринулся с кафедры, точно ужаленный, и надавал ему несчетное число пощечин. Я уверен, что если бы история эта случилась в классе старшего Юнга, он бы поступил совершенно иначе и, вероятно, добился бы лучших результатов. Мальчик, очевидно, не имел в виду ничего дурного, и ему просто нравились забавные похождения героя стихотворения.

Профессор Клеменц был вообще в таких делах удивительным святошей и составил целый список стихотворений, не разрешенных им для декламации. К числу запрещенных стихотворений относились также „Рыцарь Тоггенбург“ Шиллера. Почему собственно? Тогда я нашел объяснение в том, что стихотворение заучивалось чересчур легко. Теперь мне приходится предположить, что причиной воспрещения служило то обстоятельство, что речь идет не только о братской любви. В летнем семестре 1864 г. он пополнил запрещенный список стихотворением Симрока „Полбутылки“ и в конце года

объяснил нам это следующим: в стихотворении речь идет о войне между Данией и Швецией, причем благородная роль принадлежит датчанину; но так как летом этого года началась война Пруссии с Данией, то он нашел неподходящим для нас заучивать наизусть это стихотворение.

Я имел уже случай заметить, что хотя я питал глубокое уважение к Клеменцу, но с этим доводом согласиться никак не мог и находил его чрезвычайно неудачным. При этом к самой войне Пруссии с Данией я не относился ни отрицательно, ни хотя бы критически, воспринимая ее совершенно так, как нам ее официально изображали; больше того, когда война окончилась, я даже сочинил стихотворение в честь возвращающихся с поля битвы войск. По произведению этому ясно видно было, какое влияние имел на меня чрезвычайно любимый мною в то время поэт Эрнст Мориц Арндт; о войсках говорилось, что они:

Освободили Шлезвиг-Гольштинию
От тяжелого датского ига.

Но как бы ни была справедлива эта война, я никак не мог понять, почему не могло быть среди датчан благородных людей и почему нельзя было об этом говорить.

В untersecunda (седьмой класс) произошла со мной внутренняя перемена, положившая конец моей гимназической карьере. Произошло это целиком почти по моей собственной вине. К развлечениям, которым я предавался лет с пятнадцати, относилось и знакомство с уличной детворой. Уже в последнее время нашего жительства на старой квартире я вступил в дружеские сношения с некоторыми мальчиками нашей улицы, раньше посылавшими мне вслед насмешливые стишки по поводу моего еврейства или моего имени. Симпатию их я завоевал благодаря таланту рассказчика. Началось это так: в сумерки нас собиралось несколько мальчиков в подвале, где мы распевали патриотические песни, считавшиеся в Пруссии неблагонадежными, например: „Deutschland uber alles“, „Die Wacht am Rhein“, „Was ist des Deutschen Vaterland“. После пения и по поводу его я принимался рассказывать, и круг моих слушателей все увеличивался. Однако, я не даром преподносил им образцы своего искусства. Занимаясь гимнастикой, я познакомился с чехардой и возымел к ней великое пристрастие. Здесь не было ничего озорного; для того, чтобы играть успешно, требовалась значительная доля умелой тактики, которая в моих глазах несколько придавала игре характер вольной шахматной игры. Поэтому я ставил условием, чтобы перед пением и рассказами происходили игры, на что собеседники мои соглашались довольно охотно. Таким образом, мы с большим удовольствием проводили время и тем менее оставалось его для подготовки к школьным занятиям.

ЮНОША ДЕВУШКУ ЛЮБИЛ...

На ряду с этим я посвящал некоторую часть своего досуга своей ровеснице, дочери младшего брата моего отца. С ней мы частенько, еще шестилетками, играли в жениха и невесту. После смерти ее матери ее увезли из Берлина, и она 7 лет провела в Померании, где проживала одна из теток; теперь она возвратилась в Берлин и жила вместе со своим отцом в доме нашего общего дядюшки Арона Бернштейна, которому ее отец оказывал помощь, между прочим, и при его занятиях экспериментальной физикой. Если бы она только захотела, мы бы возобновили с ней отношения, имевшие место за семь лет до того, ибо в течение годов отсутствия она так и жила в моем представлении, как моя „невеста", а по возвращении ее в Берлин ее милая внешность и приятное обхождение сразу завоевали мое сердце. Но я настолько отстал от нее ростом и фигурою, что о прежнем и речи быть не могло. Мы все же стали опять добрыми друзьями, рассказывали друг другу все, что тяготило наши души. Сердце ее принадлежало некоему юнцу, любимому гостю в доме дяди, истинному феномену в смысле красоты, прелести и даровитости, с которым я никогда не мог бы выдержать сравнения. Он был для меня нисколько не опасен, ибо увлечение моей кузины оставалось совершенно платоническим. Он никогда о нем так и не узнал и был для нее еще более недосягаем, нежели она для меня. Таким образом, наши перепутавшиеся сердечные дела несколько смахивали на то, что изображает Гейне в стихотворении, заглавие которого приведено в настоящей главе.

Однако, сердце мое не разбилось. Правда, время от времени, когда Агата,—назовем ее хотя бы так,—заводила бесконечный рассказ о любви своей к Аврелию, на меня нападало настроение, при котором мне казалось, будто печальные слова Гейне как нельзя лучше подходят к моему положению. Однако, природа устроила меня так, что если я что-либо признавал для себя недосягаемым, оно немедленно теряло способность оказывать на меня сильное действие. Во многих отношениях это свойство весьма нежелательное, но в делах любовных оно нередко бывает весьма полезным. Вообще без большого огорчения я вступил в роль наперсника Агаты.

Я охотно провожал ее по вечерам к омнибусу, когда она, побывавши у нас, собиралась обратно во-свояси, в северную часть Берлина. Закончилось дело курьезным случаем.

Карл Кеппен, с которым я сошелся очень близко после того как Алекс и Отто переехали в другую часть города, прочел мне однажды наставление относительно моего отнюдь не кавалерского отношения к Агате. Хотя он и был помоложе, тем не менее в этих делах значительно опередил меня.

„Когда ты с ней вечером ходишь по улице, ты должен предложить ей опереться на твою руку“, объяснил он мне. Я принял это к сведению и на следующий же вечер поступил по его указанию. Но, как видно, я еще не усвоил того, что требовалось. Не успела Агата опереться на мою руку, как из темноты пустынной улицы громко раздалось „Дай другую руку!“—Карл, спрятавшись за столб у городской стены, наблюдал за тем, правильно ли я выполню его совет, и с ужасом увидел, что я предложил Агате левую руку. У него не хватило терпения подождать до следующего дня, чтобы сделать мне надлежащий выговор, его дернуло сделать это и тем смутить не только меня, но и Агату: из этого видно, насколько, несмотря на его тонкое знание светских приличий, он все еще был форменным мальчишкою, не хуже меня.

СТРАНА ИОГАННИТОВ

Улица Иоганнитов у Галльских ворот, куда мои родители переехали весной 1864 г., представляла еще бо́льший соблазн в смысле лодырничания, нежели прежняя квартира.

То была крайняя в то время из застроенных улиц Берлина и притом тоже застроенная по одной только стороне. На ней стояло всего лишь 8—10 домов, граничащих сзади с садом Галленбахского театра. Перед ним простиралось открытое поле, а за ним незастроенные участки по набережной канала.

Часть Берлина, примыкающая к улице Иоганнитов с западной стороны, была уже описана ранее. С востока она примыкала к совершенно незастроенной улице Тамплиеров, от которой простирались на восток пустынные поля.

Дома на улице Иоганнитов построены были в модном тогда стиле: все они были высотою в 4 этажа, у некоторых из них были балконы. Что касается материала и способа стройки, то они, в том числе и дом № 3, в котором мы поселились, сооружены были по господствовавшей тогда в Берлине моде „дешево, да сердито“. Дом, выстроенный тем же архитектором в другой улице, обвалился в октябре, кажется, 1865 г., причем погибло немало людей. Население этих домов принадлежало к различным классам общества. В передних корпусах обитали представители различных слоев так называемого „среднего класса“, в задних корпусах ютился пролетариат. С некоторыми мальчиками этого круга я вскоре свел знакомство и благодаря этому вошел в сношение и с остальными уличными мальчишками.

Поля и луга, расположенные поблизости от нашей улицы, давали мне желанную возможность удовлетворить мое стремление к бродяжничеству. В теплую погоду я очень охотно

водил двух младших сестер на прогулку по полям; и если мы где-либо видели кустарник, то располагались на отдых и устраивали импровизированную беседку. Я не особенно мог принимать участие в играх моих сверстников, затеваемых ими на улицах, так как из-за малого роста и телосложения я не обладал подходящими для этого данными; так, например, я совершенно не мог участвовать в играх в мяч.

Зато, в чем я при малейшей возможности принимал участие,—это было купанье летом в канале. Конечно, купаться у набережной приходилось довольно редко, так как ввиду порядочной глубины канала это было запрещено, и все купающиеся подвергались риску попасть в руки речной полиции. Правда, для мальчишек нашей улицы, бегающих босиком, опасность была невелика. Немудреная одежда пряталась в укромных местечках в выступе стены, недоступных для взрослых, но вполне удобных для юркого мальчика. Если появлялся сержант речной полиции, ему нередко приходилось еще терпеть издевательства со стороны купающихся мальчиков, и затем они с необычайной быстротой и ловкостью шмыгали мимо него и бежали добывать спрятанную одежду; впрочем, иногда случалось так, что кому-либо из озорников, отрезанному от места, где были спрятаны его вещи, приходилось нагишом бежать до дому.

Я же, отягощенный ботинками и чулками, „буржуйский сынок“, не мог участвовать в столь рискованных предприятиях и должен был выбирать для купанья время, свободное от нападения речной полиции. Тем охотнее я примыкал к группе мальчиков, когда она „компанией“ отправлялась купаться в так называемый „студенческий уголок“,—бухту канала поблизости от Силезских ворот, где купанье разрешалось. Правда, путь туда был не ближний, но зато мы имели там возможность барахтаться в воде, сколько душеньке угодно было. Вся компания располагалась у бухты, все раздевались, кто-либо в переменку с остальными сторожил одежду, а остальные купались, повышая удовольствие от купанья всевозможными выдумками. Не было большего наслаждения, как вначале окунуться в воду, затем выскочить на берег и мокрым основательно вываляться в песке, пока тело не покроется своего рода песчаною корою, а затем снова бултыхнуться в воду, в которой мы освобождались от чужеродной оболочки, но что мало способствовало поддержанию чистоты воды в канале. Последнее обстоятельство нас мало заботило. Впрочем то, что мы делали, было много невиннее того, что проделывали впоследствии подростки, когда здесь открылись купальни. Когда в 1876 г. я бывало утром, перед уходом на службу приходил сюда учиться плавать, то при прыжке вниз с трамплина можно было основательно напороться на осколки от пивных бутылок и прочие

острые предметы. Юноши того времени любили, купаясь по вечерам, сначала выпить пива, приносимого ими с собой в бутылках, а затем с силой швырять пустые бутылки в воду; бутылки, падающие близко от берега, разбивались с тем большей силой в мелкие осколки. „Бессовестное поведение"—скажут нам. Но тогда ведь не было юношеского социалистического движения, „отравляющего" юные души стремлением к лучшему общественному строю, но приводящему вместе с тем к более разумному поведению со стороны участников его.

ТЕАТР И ТАНЦЫ

В одной области развлечений я несомненно был опытнее своих товарищей по уличным играм — именно в деле театра. То, что я видел из этой области у Майзеля, пробудило во мне настоящую страсть. Правда, от хождения в театр мне приходилось еще отказываться. Как ни были умерены цены за вход в расположенный так близко театр Галленбаха, для меня он был все же недоступен. Если я хотел доставить себе наслаждение театром, мне приходилось следовать указанию известной народной песенки: „Есть ли деньги или нет, все едино, все равно".

> **Коль деньги есть в кармане, театры посещай.**
> **А если нет их, дома шута изображай.**

И мне пришлось уговорить нескольких мальчиков разучить вместе со мной некоторое театральное действие, сочиненное мною лично, и в один прекрасный день мы его разыграли. Для этого представления я заготовил куплеты на мотив излюбленной мною Штейрерской песенки, в них я воспевал нашу улицу, окрещенную мною страною Иоганнитов. Сама улица с выстроенными на ней домами, обе лавки, расположенные на ней, домовладелец и управитель домов № 1—3, население их, по большей части простонародье, и, наконец, проживавшее на этой улице юношество мужского пола—всему этому посвящены были вирши. Некоторые из них до сих пор уцелели у меня в памяти.

Состоялось только одно представление. Семья, предложившая нам помещение для первого спектакля, больше предложения этого не повторяла, а товарищи мои не обладали ни расположением, ни талантами, достаточными для того, чтобы я прилагал особые усилия к разысканию нового помещения. К тому же как раз в то время мне представился случай иным образом проявить любовь мою к театральным представлениям.

В нашем же доме, над нами, проживала семья, с которой мы вступили в сношения и поддерживали знакомство; назовем их Вейссами. Семья состояла из родителей и четырех детей

из которых младшие, мальчик и девочка, были близнецами. В сущности надобно было бы сказать—девочка и мальчик, так как девочка Мария,—звали ее Мици,—умственно значительно превосходила Ганса, много сильнейшего ее физически брата. Она относилась к нему по-матерински, как старшая сестра к младшему брату, и Ганс против такого отношения не протестовал. Напротив, когда они вместе ходили с визитом, и Мици после этого с материнской гордостью рассказывала, что Ганс „можно сказать, сам нашел дорогу домой", он слушал ее с удовлетворением, ничем не выказывая, что ему неприятно выслушивать похвалу, заключающую в себе некоторое признание его умственной недоразвитости.

Близнецам кто-то из их родных подарил кукольный театр, с которым они не знали, что делать, между тем как для меня он был сущей находкой. Я воспользовался куклами для моих собственных целей и по воскресеньям днем давал, при помощи их, маленькие сценические представления, привлекавшие все большую и большую аудиторию. Впрочем, аудитория по окончании спектакля не сейчас расходилась. По большей части то были подруги старшей дочки Вейссов, двенадцатилетней девочки, и товарищи ее четырнадцатилетнего брата. Собравшись вместе, общество это после театрального представления принималось играть в разные игры, обыкновенно в фанты, причем я, как и мой приятель Карл Кеппен, охотно принимали участие в этих развлечениях, протекавших необычайно весело, в особенности, когда начинался розыгрыш фантов. Вскоре дело пошло дальше. Отец Вейссов, вообще говоря, больше любивший пожить, чем то было полезно для благосостояния его семьи, был весьма общительным человеком, умел немного играть на скрипке и однажды стал наигрывать нам танцы, что было принято с большим восторгом; спустя короткое время игры и танцы настолько стали господствовать над прочими развлечениями, что кукольный театр оказался заброшенным, и никто по нем не скучал. Я тем более охотно участвовал в танцах, что никогда им не обучался, и теперь имел случай поупражняться в главных танцах с мало требовательными девочками-подростками. При этом меня восхищали прелестные мелодии, наигрываемые Вейссом,—Вебер, Ланнер, старший Штраус и прочие мастера танцовальной музыки передавали нам свой ритм.

Особенно нравились нам весьма модные в то время полонезы, которые полагалось танцовать размеренными шагами, двигаясь под звуки прекрасных мелодий. Вначале мы танцовали полонезы только по квартире Вейссов, впоследствии мы стали передвигаться по всему дому, и в один прекрасный день дошло до того, что, во главе с играющим на скрипке Вейссом, мы вышли на улицу и дошли до дома № 5, в котором

проживал профессор Кабанис, хранитель зоологического музея Берлинского университета; две дочери профессора принимали участие в нашем хороводе, мы нанесли ему всем обществом визит, причем все были в самом радужном настроении и пользовались всеобщим успехом.

Воспоминания все прикрашивают, все пятна, уродующие картину в действительности, исчезают, и она выступает в совершенно чистом виде. В действительности у каждого, надобно думать, кроме радостей, были и заботы и, как видно будет впоследствии, дело не обходилось без недоразумения между некоторыми из участников. Однако, когда я вызываю эти образы в моей памяти, в конечном счете у меня остается воспоминание о радостных днях, пережитых нами в то время. Мы все предавались веселью тем более чистому, что в смысле материальных благ мы были более чем не требовательны.

Пока я записываю эти строки, в ушах моих звучат мелодии, радовавшие меня в те дни. Я не слеп в отношении преимуществ разных новшеств и охотно признаю, что нынешние танцы имеют перед прежними ту выгоду, что при них не приходится задыхаться от быстрых движений, и что они поэтому допускают большую грацию движения, но я не могу отделаться от впечатления, что за это преимущество приходится платить потерею музыкальности. По сравнению с чарующими мелодиями, особенно старых вальсов, музыка новых танцев напоминает заплетающуюся речь людей, страдающих пляской св. Витта.

★

Через посредство дочерей профессора Кабаниса приятель мой Карл и я познакомились с его старшим сыном Жаном, ставшим для меня в течение нескольких лет опасным другом. Он был несколько старше меня, но в смысле познания жизни превосходил меня еще более, чем на эти несколько лет. Будучи одарен живым темпераментом и обладая, как и прочие члены семьи Кабанис, подкупающей внешностью, он обещал сделаться пустоцветом. Ему удалось, не без труда, правда, застрять на три года в одном из младших классов гимназии, а затем, будучи переведен в другую гимназию, быть изгнанным из нее за невероятную шаловливость. Обладая большими способностями к рисованию и живописи, он был отдан в учение строительному мастерству и вместе с тем записан на некоторые из читавшихся в Академии Художеств курсов с тем, чтобы подготовиться к занятиям прикладным искусством. Однако, он и здесь недолго продержался, вел в течение ряда лет чрезвычайно бесцельную жизнь и как раз,—когда проявил надежду, что из него выйдет толк,—он скончался, не дожив до 40 лет. Он стал театральным декоратором, и однажды при первом представлении одной пьесы декорации его понравились публике

настолько, что после падения занавеса его стали особенно вызывать. Об этом я читал в одной из берлинских газет, так как в то время я уже проживал за границей.

Когда я познакомился с Жаном, он только что вступил в Академию и чрезвычайно увлекался лекциями некоторых преподавателей. Приятелю моему Карлу и мне он рассказывал, между прочим, о театральных представлениях, которые он уже за несколько лет до того успешно устраивал вместе со своими сверстниками, и тем самым толкнул нас на то, чтобы попытать свои силы на тщательно подготовленном спектакле. Мы выбрали для этой цели комедию Кернера „Кузен из Бремена", так как по словам Жана пьеса эта имела большой успех. Он объявил, что берет на себя роль отца, роль Франца—любовника—должна была достаться Карлу, а мне—роль Гретхен. Я готов был согласиться на всякую роль, да и к исполнению мною роли Гретхен не встречалось никаких препятствий. Даже для роли девочки я был скорее слишком мал, чем слишком велик; хотя мне уже исполнилось 16 лет, голос у меня еще не начинал ломаться, и ни на верхней губе, ни на подбородке не было еще никаких признаков пушка. Поэтому мы скоро столковались, и так как другого времени у нас в распоряжении не было, то ранней весной 1866 г. каждое воскресенье после обеда мы отправлялись в Кепеник под Берлином и репетировали там на берегу самых больших, вызванных к жизни действием солнечных лучей, луж. Мы считали эти лужи выступившей наружу подпочвенной водой, но может быть это был растаявший снежный покров. Репетировали мы с таким рвением, что в конце концов каждый из нас знал свою роль на зубок и мог выступить без страха провала. Когда мы вечером возвращались домой мимо деревенских трактиров, из них раздавались звуки танцовальной музыки. Однако, недостаток наш в деньгах обеспечивал нас от соблазна. При довольно долгих переходах мы тем не менее ни разу не зашли освежиться в трактир, до такой степени поглощены были одним нашим делом и связанными с ним разговорами. Те немногие копейки, которые нам удавалось скопить, мы предпочитали употребить на покупку картона для декораций.

Жан писал эти декорации в пустой комнате в квартире, принадлежавшей одной из жилиц нашего дома, фрау Келер, короткой знакомой семьи Вейссов; племянницы ее, две сестры по фамилии Бадинг, принимали живейшее участие в воскресных наших экскурсиях.

По мере приближения знаменательного дня представления мы стали расширять программу и ввели в нее комическую сцену между спившимся сапожником и его дерзким учеником. В противовес моей другой роли—нежной Гретхен—я изображал неуклюжего, придурковатого сапожника, а Карл играл,

в противоположность своей роли сантиментального первого любовника, дерзкого берлинского мальчишку в учении. Представление должно было завершиться танцовальной пантомимой, сочиненной самим Жаном под названием „Герман и Доринда“; после долгих уговоров нам удалось убедить мою сестру Клару (старше меня на 3 года) взять на себя роль Доринды; к этому побудило нас то, что мы застали ее однажды в тот момент, когда она пробовала обучить нескольких девочек водить хороводы в балетном вкусе. В пантомиме роль любовника досталась опять-таки Карлу, между тем как Жан взял на себя комическую роль фатоватого старого барона; девочкам долженствовало изображать собой амуров. От моего участия в представлении по веским причинам решено было отказаться. Зато я обещал сочинить и прочесть подходящий пролог, а Жан обещался написать и прочитать эпилог.

Я вскоре взялся за изготовление обещанного пролога, причем, как и при всех моих предыдущих восхождениях на Парнас, руководителем моим был и остался Шиллер, его отношение к сюжету было для меня образцом так же, как и излюбленные им размеры. Таким образом, создалось творение, принятое с таким успехом, какого я никак не мог ожидать после неудач моих на стезе обучения гимназическим наукам. Оно состояло из четырех восьмистрочных строф, из которых первая воспевала наступление весны и приглашала проститься с зимой, вторая воздавала дань прелестям зимы, третья подчеркивала невозможность сочетать радости домашнего уюта и весну, а четвертая приглашала возобновить наши театральные представления, как некий символ даров нашей собственной весны. Все весьма банальные и поверхностные мысли, но которые сошли за поэзию, так как стихи рифмовали и звучали недурно.

То обстоятельство, что я давным-давно простился с прекрасной верой тех дней в мои поэтические таланты и что раз навсегда запомнил двустишие Шиллера, служащее предостережением дилетанту,—

> На языке развитом удался тебе стих? Не гордись им:
> Создал его ведь не ты, а всемогущий язык,—

конечно, спасает меня от подозрения, что не только ради характеристики моего дилетантизма и скромности требований моих слушателей я привожу здесь начало и конец пролога.

> Уж в зелень свежую луга одеты,
> Весна идет, природа нас манит;
> К ее гостеприимному привету
> Кто равнодушье в сердце сохранит?
> Младые прелести предтечи лета
> Кто с чарами седой зимы сравнит?
> Зима уходит, радуйтесь разлуке,

К дарам весенним протяните руки.

. . . .

Сегодня праздник посвящаем мы
Веселым проводам седой зимы“.

. . . .

„И к празднику мы в дар вам предлагаем
Усилий наших первые плоды.
Хотя на них,—мы сами это знаем,—
Еще лежат незрелости следы,
Мы, отпрыски весны, не унываем:
Улыбки знатоков нам с полбеды,—
Мы лучшее, что есть у нас, приносим,
Принять цветы весенние вас просим.

Произведение мое я впервые прочел однажды у Вейссов, у которых собралось несколько обитательниц нашего дома, в том числе и сестра моя Клара; женщины занимались рукодельем, а сам Вейсс, обладавший довольно увесистой фигурою, изображал собой критически настроенного слушателя. Однако, не успел я закончить последнюю строфу, как он вскочил, кинулся ко мне, обнял меня и стал целовать, сказав: „Эдуард, ты не рожден быть купеческим приказчиком“. Женщины присоединились к его мнению. Сестра Клара сказала мне: „Это ты хорошо сделал, Эдуард“, а жилец одной из присутствовавших слушательниц моего произведения прислал мне на другой день через свою хозяйку, очевидно рассказавшую ему о моем прологе, томик стихов, написанных его отцом, с таким посвящением: „Певцу муз, ученику Аполлона, Меркурия и Минервы“.

Что удивительного, если я чувствовал себя на седьмом небе. Даже несколько двусмысленное сопоставление имен богов в тексте посвящения не могло нарушить моего радостного чувства.

Эпилог Жана был закончен несколькими днями позже и представлял собой полную противоположность моим сентиментальным излияниям. Тогда как я не мог оторваться от Шиллера, он давно уже перенес свой стяг в лагерь Гейне. Правда, последний пленил его не в качестве талантливого историка литературы и гениального ученика классической немецкой философии,—соблазнил он его дерзостью и сарказмом, рассыпанными по „Книге песен“ и прочим его стихотворениям в виде острых приправ. Этого-то поэта Жан и поставил себе образцом.

К сожалению, не все стихи этого, впрочем краткого, эпилога сохранились у меня в памяти. Привожу для образца две строфы. В начале там значилось:

Сегодняшний веселый день воскресный
Пусть критикой не будет омрачен;
Порадовать вас было нашей целью,
Не будьте ж строги к средствам, господа!

Веселье—нашей жизни украшенье,
Безумец, кто бежит от развлеченья.

В заключение:

Пусть музы,—нас подвигшие на то,
Что мы, забыв о робости, пред вами
Решились выступить,—воспламенят
Божественным восторгом ваши души.
Все ж, от искусства, как от пива, пьяны,
Не спутайте вы кошку с обезьяной.

Представление прошло так, как обычно проходят представления дилетантов в среднем кругу, т.-е. хотя и не без некоторых неприятных неожиданностей, но все же с большим успехом со стороны присутствовавших в большинстве из незрелого и мало расположенного к критике юношества; кто же относился критически, проявил большую снисходительность. Одна неожиданность произошла по моей вине. В пьеске „Кузен из Бремена“ Гретхен необходимо было перед последним явлением переодеться. Но так как женщина, помогавшая мне надеть на себя лиф Гретхен, теперь сидела в зрительном зале, то снять его мне долго не удавалось, и партнеры мои довольно долго поджидали меня на сцене, так что наступила тягостная пауза. Когда я из-за кулис увидел это, то я с горя разорвал лиф в куски. Благодаря этому я и смог доиграть свою роль. Говорят, что никто из лиц непосвященных не догадался о том, что Гретхен играл мальчик. Успех этот, однако, доставил мне не одну радость,—в числе детей, изображавших амуров, была талантливая музыкантша М а р и а н н а Ш т р а з о в, впоследствии супруга известного музыканта Шарвенки. В то время она уже выступала перед публикой, и в театральных афишах ее называли семилетней Марианной, хотя ей и было 13 лет. Впрочем, если бы был назван ее настоящий возраст, она все же должна была иметь большой успех, так как очень удачно исполняла наизусть трудные музыкальные композиции таких авторов, как Вьетан. В нашем же кругу она держалась очень просто и добродушно посмеивалась, когда ее дразнили по поводу ложных указаний ее возраста. Поэтому, а также потому, что у нее был очень милый характер, ее в нашем кругу очень любили.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О МОЕЙ КАРЬЕРЕ

Еще до описываемого представления принято было решение о будущей моей карьере. Это решение было в весьма резком противоречии с одушевлявшими меня поэтическими фантазиями, но вместе с тем нельзя сказать, чтобы меня

принуждали ее избрать. Должен скорее признать, что ответственность всецело падает на самого Сократа с его знаменитым „познай самого себя“.

Перейдя в последний класс гимназии, я убедился, что в моей подготовке до того много пробелов, что мне угрожала опасность перейти из числа лучших учеников в разряд отсталых, тем более, что нашим классным наставником был старик Циммерман. Подлинный ветеран, бывший некогда весьма дельным в своей области, он в то время вряд ли мог оказать помощь, необходимую для возвращения моего в высший круг учеников. Обстоятельство это нанесло настолько сильный удар моему убеждению в том, что я обладаю необходимыми для научной карьеры способностями, что я сдался на просьбы моего отца отказаться от дальнейшего учения и согласился поступить на практическую выучку в торговое дело. На меня произвело сильное впечатление указание отца на то, что брат мой Макс, несмотря на свои большие способности, ничего толком не делал с тех пор, как вышел из торгового дела дядюшки; у отца не было, впрочем, необходимых средств для того, чтобы обеспечить мне возможность долгого учения. К этому присоединилось то соображение, что среднему ученику, каким я был в то время, невозможно было добиться получения стипендии.

Итак, я вышел из гимназии, причем в не очень блестящем свидетельстве, выданном мне, было сказано, что я при посещении „в достаточной мере“ усвоил сведения, требующиеся для приема в вольноопределяющиеся. По выходе из гимназии я некоторое время посещал коммерческое училище, находившееся под руководством некоего преподавателя Соломона, между тем как дядя мой по матери Адольф Розенберг подыскивал мне подходящее торговое дело, куда бы можно было определить меня в качестве ученика.

ВСЯЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Тем временем пришло лето 1866 г., разыгралась в течение его австро-прусская война, не произведшая на меня, как это ни странно, сильного впечатления, несмотря на то, или может быть именно потому, что я настроен был в весьма германско-патриотическом духе. Друг мой Карл и я вместе со сверстником нашим, неким Отто Зейфертом, сыном бедной вдовы и учеником в переплетной мастерской, проживавшим на нашей прежней улице, основали тайный союз „Черно-красно-золотых“, в котором я был председателем, Карл секретарем, а Отто изображал народ. Других членов мы к союзу нашему не привлекали, но устраивали настоящие заседания,

причем Карл весьма добросовестно вел протоколы их особыми клиновидными начертаниями, которые мы считали весьма удачным способом сохранить дело наше в тайне. Союз наш мы окрестили РАН по начальным буквам трехцветного знамени его, если название красок перевести на латинский язык: красная—rubrum; золотая—aureum; черная—nigrum. Карл вырезал из черного картона сердца, которые мы размалевали тремя заветными красками и носили на груди под одеждою. Ребячество, скажут некоторые. Однако, мысль о том, что стягом демократической Германии было принято раньше черно-красно-золотое знамя, настолько сильно укоренилась во мне, что когда впоследствии Северо-Германский Союз и еще позже Германская империя прусской формации избрали себе черно-бело-красное знамя я долго еще подсчитывал в те дни, когда вывешивались флаги,—сколько человек продолжает придерживаться доброго старого демократического знамени, и хотя из года в год число их становилось все меньше, тем не менее даже в прусско-германскую эпоху в Берлине их было не так уже мало.

★

Еще до того в театре Калленбаха произошли изменения, не прошедшие для меня бесследно. В качестве театра водевилей он не обладал достаточно притягательной силой, чтобы окупить издержки, и руководителю его приходилось пускаться во все тяжкие, чтобы добиться успеха. Но если успех и бывал, то лишь успех-однодневка; еще когда в 1865 г. директор Калленбах однажды пытался использовать для своей сцены разыгравшийся в берлинском суде скандальный процесс,—даже и тогда он делал полные сборы в течение нескольких дней, но весьма больших результатов ему достигнуть так и не удалось. Процесс этот, о котором я тогда за моим малолетством имел лишь смутное представление, состоял в следующем:

Некий граф, камергер королевского двора, подал жалобу на балерину (кажется, королевской оперы), обвиняя ее в том, что она украла у него деньги и драгоценные вещи. Обвиняемая, с театральным именем Финетта, утверждала на суде, что у нее и графа существовали определенные отношения, и в виде подтверждения своих слов представила вещественные доказательства, а именно—кальсоны графа; в результате она добилась своего оправдания. По сему случаю в Берлине было шумное веселье, так как в мещанских кругах еще питали большое озлобление к прусскому юнкерству, и когда Калленбах пригласил Финетту на гастроли в театр, наплыв публики был огромный. Никогда до и после того в узких аллейках, ведущих ко входу в театр, не толпилось столько наемных и собственных экипажей, как в дни выступлений „м-ль Финетты“; однако, дней таких было немного. В качестве

танцовщицы Финетта никуда не годилась, искусство ее не простиралось дальше подпрыгивания, и интерес к ее личности весьма быстро рассеялся [1]). Зрительный зал вскоре стал вновь зиять пустотой.

Тогда директор Калленбах решился на радикальную перемену. Кроме актеров, он пригласил танцовщиков и труппу гимнастов, изменил расположение мест в зрительном зале таким образом, что, кроме лож и небольшого количества номерованных кресел у самой сцены, все остальные места продавались по весьма дешевым ценам—пфеннигов в 30; в будни он составлял программы таким образом, что вначале шла музыкальная сценка, как французы выражаются „под занавес", притом довольно остроумная; затем шли танцы и гимнастические номера; вторая часть была составлена наподобие первой с той, однако, разницей, что вместо вступительной сценки ставили одноактные водевили, между тем как третья часть опять-таки начиналась музыкальной пьеской и заканчивалась фарсом. По воскресеньям, когда за вход взималось 50 пфеннигов, прибавлялась еще и четвертая часть. Таким образом, публика за весьма умеренные деньги получала разнообразные развлечения, и так как Калленбах знал толк в театральном деле и в сущности любил его по настоящему, он заботился о том, чтобы исполнители были порядочные; таким образом, потребность в духовных наслаждениях редко бывала вполне неудовлетворенной; в виду разнообразия программы он окрестил свое предприятие Театром-Варьетэ.

Новшество это имело большой успех, и пока конкуренты не усвоили идеи Калленбаха и не стали ему подражать,—что произошло, однако, не скоро, — театр бывал почти ежедневно переполнен.

Для меня он, правда, все еще оставался недоступным раем. Заглядывать в уголок его мне приходилось лишь в жаркие летние дни, когда Калленбах устраивал сцену в саду. Расположена она была так, что из крайнего окна левого крыла нашего дома можно было видеть часть происходящего на сцене. Я иногда пользовался любезностью жителей этой части дома и вместе с другими зрителями часами сидел у окна и урывками улавливал происходящее на сцене.

Многого мне при этом увидеть не приходилось. Знакомые, у которых я устраивался поглазеть, жили в третьем этаже, и потому мы видели большей частью лишь головы исполните-

---

[1]) Надо полагать, что интерес к ней не мог увеличиваться от безвкусных афиш: на них она была изображена рядом с кальсонами, на которые указывала пальцами. Я тогда ничего не смыслил, но все же, когда увидел афишу, она произвела на меня чрезвычайно отрицательное впечатление. Надобно думать, что большинство людей сообразило, что вряд ли Финетта относилась к числу личностей, заслуживающих народных оваций.

лей, а речи их еле-еле к нам долетали. Мне к тому же сильно мешала близорукость, так как в то время я еще не носил очков, и мне трудно было в точности понять, что происходило на сцене. Признаюсь открыто — видеть представление в Калленбахском театре мне пришлось тайком.

В ТЕАТРЕ В КАЧЕСТВЕ „ЗАЙЦА"

В один прекрасный день в программе театра был объявлен „Праздник ремесленников" Ангели. Не могу выразить, что со мной сделалось, когда я прочел это объявление. О пьесе этой рассказывали нам отец и мать, видевшие ее еще в старой постановке; отец учил меня, пятилетнего мальчишку, петь песенку столяра из этой пьесы, а мать иногда напевала партию Ленхен. Каково же должно быть наслаждение слушать все это со сцены? Но как добиться этого? Попросить у родителей денег на плату за вход невозможно было. Зная, как туго им приходилось с деньгами, я не решился бы выговорить ни слова на этот счет; в этом отношении я был чрезвычайно сдержан. Каким же иным путем добиться этого наслаждения? Помочь могло только чудо. Наполовину надеясь на таковое, вернее на счастливый случай, я отправился в тот день, когда было назначено представление, перед вечером в Калленбахский сад, открытый до начала спектакля для публики, которая любила на свежем воздухе выпить стакан пива. Действительно, за некоторыми из столиков сидели люди. Присутствие мое прошло незаметно, и благодаря моей мало внушительной внешности я избегнул вопросов со стороны кельнеров относительно того, что мне угодно выпить.

Но чудо не показывалось и ничто не позволяло мне надеяться на счастливый случай. Никто из находящихся в саду лиц не был мне достаточно знаком, чтобы в случае надобности обратиться к нему за помощью. Время шло, и угрожал наступить тот момент, когда контролер начнет поверку билетов; если я не смогу предъявить таковой или заплатить входную плату, он укажет мне на дверь. Что делать? Я размышлял, но не находил выхода из положения.

Знаменательный момент наступил. Я увидел, как контролер вышел из здания театра и направился к столикам, где сидели дневные посетители, увидел, как у одного столика он рассмотрел билеты, предъявленные ему сидевшими на этом месте, а за другим столиком он указал на калитку сада, приглашая лиц, не запасшихся билетом, выйти. Ясно было, что через несколько минут он придет ко мне. Что тут делать? Неужели нет никакого выхода, неужели нельзя спрятаться? И тут-то явился счастливый случай в виде спасительной идеи.—Суще-

ствовала еще одна возможность, и ею необходимо было воспользоваться.

По возможности незаметно я встал с места и направился как будто без всякого намерения в заднюю часть сада. Действительно, никто на меня и внимания не обратил. Действуя так, я имел в виду весьма определенную цель, — отхожее место. На мое счастье за ним никто не наблюдал, и женщина, приставленная к нему, еще не вступила в исполнение своих обязанностей, так как для гостей, заплативших за представление, время было чрезвычайно раннее. Поэтому я воспользовался моментом, когда никто не глядел по принятому мною направлению, вошел в домик и заперся изнутри. Сердце мое билось изрядно, но меня никто так и не потревожил. Я стал отсчитывать минуты, которые мне приходилось провести в заточении.

Недостатка в терпении у меня нет, скорее наоборот. Поэтому я предпочел все более и более отодвигать момент моего освобождения вместо того, чтобы, неосторожно покинув укромное местечко, испортить все дело. И действительно, когда я, предполагая, что достаточно уже натерпелся, вышел в сад, я увидел, что в нем собралось уже порядочное число посетителей. Я с облегчением вздохнул и стал жадно глотать свежий воздух. Контроль уже прошел, и нечего было более опасаться.

Я выбрал себе местечко поближе к сцене и с нетерпением стал ждать представления „Праздника ремесленников", назначенного под конец программы. Не помню, что исполнялось до того, кажется, я так и не обращал внимания на сцену.

Совесть у меня была чиста, и меня не удручало, что я втихомолку пробрался к Калленбаху. Я ведь никого не лишил его доли удовольствия. Испокон века молодежи так и полагалось думать, что ходить „зайцем" в театр предосудительно лишь тогда, если на этом случится быть изловленным. Меня терзало лишь одно опасение: а вдруг в последнюю минуту случится что-то такое и помешает мне насладиться пьесой Ангели.

Но ничего не случилось. Представление прошло гладко, и надежды мои были удовлетворены вполне. Актера, игравшего роль десятника Клюка, я еще ранее знал по Майзельскому театру, как отличного комика. Я чуть-чуть не влюбился с места в карьер в субретку, весьма бойко и задорно игравшую роль Ленхен и распевавшую ее партию свеженьким голоском. Старомодное содержание пьесы меня не коробило. Я знал, что пьеса написана была давно, а по части социальных верований я сам был еще весьма старомоден. В моих глазах ремесленник все еще являлся истинным представителем промышленности, а крестьянин — подлинным представителем сельского хозяйства.

Единственное, что в тот день произвело на меня впечатление на ряду с „Праздником ремесленников“, был негритянский танец, исполненный труппой гимнастов под предводительством дочери шефа этой труппы, англичанина по фамилии Смит, именовавшего себя профессором, как то было в моде тогда у английских гимнастов. Мисс Смит оказалась еще опаснее для моего сердца, нежели актриса, игравшая роль Ленхен. Приходится мне сознаться в том, что меня в ней особенно пленило.

ПРИЗНАНИЕ

В некогда известной трагедии „Нарцисс“ Брахфогеля герой пьесы на вопрос, почему он ненавидит столь родственного ему во многом Жан-Жака Руссо, отвечает вопросом же: „Знакома ли вам зависть, сводящая с ума, пожирающая сердце зависть?!“

Если бы кто-либо когда-нибудь задал мне подобный вопрос, мне пришлось бы ответить безусловным отрицанием. За всю мою жизнь я не знал подобных ощущений или чего-либо к ним приближающегося. Само собой разумеется, это не означает, что я никому не завидовал. Я был бы совершенным идиотом, если бы никогда не пожелал себе того, чем пользовались другие, в виде ли свойств или предметов. В том или другом отношении у меня было не мало поводов к зависти. Но зависть эта никогда не выходила за пределы простого желания. Я никогда не знал пожирающей зависти или ненависти по отношению к тем, кто обладал вещами или качествами, представляющимися мне в высшей степени желательными. Происходило это вследствие одной моей особенности, которую я меньше всего собираюсь выставлять в виде добродетели, хотя она во многом облегчала мне жизнь. Дело в том, что я был в высшей степени нетребователен, без всякого труда мог примениться ко всякому положению и утешиться, найдя замену для всякого лишения. Это свойство меня избавило от многих огорчений, помогало мне справиться со многими неприятностями, и благодаря ему я до глубокой старости сохранил, как основу характера, известную веселость; но все это при ближайшем рассмотрении является лишь следствием, вытекающим из некоторого недостатка моего душевного развития, который я принужден определить как недостаточность *волеустремления*. То, что понятие это должно выражать наглядно, я осветил однажды следующим образом: „если бы дело зависело от меня, то человечество, поскольку оно тогда могло бы называться человечеством, продолжало бы еще долго жить пещерной жизнью. Я бы несомненно нашел, что если не предъявлять чрезмерных требований, то и в пещере можно весьма сносно устроиться“.

Эта враждебная духу прогресса нетребовательность поддерживалась еще у меня необычайно развитой фантазией, которая действовала в том же направлении, хотя и иным образом. В истории моего развития, которую я изложил в сборнике, появившемся в Лейпциге у Мейнера под заглавием „Экономисты нашего времени в собственном описании", я писал, что в молодости я был „до чрезвычайности застенчив и столь же скромен, если не считать области фантазии". Это ограничение—„если не считать области фантазии"—указывает на направление ума, весьма невыгодно отражающееся на его развитии. Это значит, что в фантазии я был весьма **нескромен**, больше того—безмерно нескромен. На всем пути моем в школу и назад я предавался мечтаниям о невероятнейшем счастье; я воображал себя в таком положении, когда мог раздавать огромные богатства дорогим мне лицам и осчастливить массу бедных людей: конечно, это было весьма приятно, и если я прибавлю, что в такие моменты сухая корка черного хлеба, которую я с трудом мог грызть зубами, с риском сломать их, представлялась мне изысканнейшим лакомством королевского стола,—то мне вероятно многие позавидуют. Но надо заметить, что мечтания, которым я предавался, оказались в практической жизни — **смертельными врагами разумного мышления и здоровых стремлений**. Гибкая фантазия оказалась пособницей полного отсутствия дисциплины на практике. Если позволительно сравнивать великое с малым, то я бы согласился, подобно Фаусту, отписать первому попавшемуся чорту мою душу за призрак счастья. Но в практической жизни желания мои далеко отставали от желаний доктора Фауста.

Другим последствием недостатка у меня здорового чувства зависти было то, что в тех случаях, когда ровесники превосходили меня в чем-либо, я восхищался ими настолько, что состояние это можно было назвать почти что влюбленностью.

Подобные ощущения вызвал во мне в предпоследнем классе гимназии один из моих товарищей по классу. Насколько я могу судить, он во всех отношениях превосходил меня, как физически, так и духовно, был самым способным учеником в классе и обладал в высшей степени привлекательною наружностью. Восхищение мое им было беспредельно. Он меня чрезвычайно сильно привлекал, однако смесь нравственной стыдливости и сознания моих недостатков удерживала меня от того, чтобы попытаться с ним сблизиться. Я ни разу не решился ни прямо к нему подойти, ни завести знакомство через посредство его брата, с которым я был знаком. Когда прошел добрый десяток лет с тех пор, как я покинул гимназию, я однажды в театре случайно оказался рядом с ним. Как это обстоятельство ни преисполнило меня счастьем (ибо я полон

был прежних чувств по отношению к нему), я тем не менее и тогда не мог себя заставить выразить ему своего отношения. Я чувствовал тогда нечто особенное, в природе чего я себе тогда отчета отдать не мог. Я понял это впервые лишь в применении к данному случаю. Но я говорил сам себе, что это нечто необычайное, и что ни один нормально чувствующий мальчик не мог мне сочувствовать, а именно, у меня была большая склонность к особо изящным представителям моего пола.

Чтобы не подавать повода к ложным толкованиям, заявляю, что склонность эта ничего общего не имела со склонностью к противоестественным сношениям. То, что мне об этом приходилось слышать, наоборот, казалось мне весьма отталкивающим, настолько подобного рода ощущения были мне чужды. Это лучше всего явствует из того обстоятельства, что я способен был влюбиться в дочку гимнаста Смита в роли мальчика, хотя я хорошо знал, что то был вовсе не мальчик, а девочка, и хотя влюбленность в нее не так-то быстро прошла. При всяком удобном случае я старался направиться в сторону углового дома нашей улицы, где в нижнем этаже жительствовала семья Смитов; я надеялся, что м-ль Смит покажется на выходящей на улицу терраске, и был весьма рад, когда в один прекрасный день познакомился с юношей несколько меня моложе, который так же, как и я, заглядывался на Мэри Смит и по тем же мотивам, как и я, прогуливался в этом месте.

То был не совсем обыкновенный человек. У меня есть основание думать, что он был внебрачным сыном у весьма бедно жившей матери и что по поручению отца он находился под духовным руководством одного весьма серьезно философски образованного человека. По крайней мере то, что он мне сообщил о своих философских беседах с этим наставником, позволяло сделать заключение вроде выше приведенного. И должно быть под влиянием этого философа, он избрал себе жизненным девизом поговорку: „Conculea cupiditati caput“— „размозжи голову страсти“. С таким принципом мне согласиться было не трудно, и исполненные этой мудростью мы оба пребывали в полном общении духа—склонности к одной и той же девушке, и вдвоем прогуливались под окнами крайнего дома на улице Иоганнитов.

Правда, мы таким путем не добились сколько-нибудь заметного сближения с „Поли“,—так называли нашу героиню в кругу труппы. Мы своим упорством добились только того, что нас в конце концов заметили, и что Поли иногда появлялась на терраске и милостиво кивала нам, когда мы почтительно обнажали перед нею головы. Только когда семья Смитов с нашей улицы переехала на другую, и мы стали выражать наше поклонение дочери тем, что выстаивали долгое время во дворе обитаемого ею дома,—однажды мать ее по-

слала мальчика из труппы пригласить нас зайти отдохнуть в квартиру. Исполненные радости, мы отправились туда и были приветливо приняты. Из хода разговора выяснилось, что рассчитывать на дружеское знакомство с семьей Смитов мне нечего было. Мы не выходили за пределы обмена условными любезностями, всякая попытка затронуть не поверхностные темы терпела неудачу. Мы жили совершенно различными духовными интересами, и таким образом я решился покинуть поле сражения, предоставивши его всецело Фрицу Сену,—так звали моего сотоварища по любовным мукам. Он-то, по крайней мере, был несколько музыкален и, исполнив несколько сентиментальных мелодий на стоявшем в комнате у Смитов расстроенном фортепиано, на несколько минут оживил общество; с внешней стороны он также был много презентабельнее меня. Поэтому, когда мы простились со Смитами и ушли, я заявил ему, что считаю бессмысленным для себя продолжать парадировать из вежливости во дворе и поэтому не принимаю приглашения бывать в доме. Фриц попробовал себя отговорить от такого намерения, но ему это сделать не удалось, и наше общение на почве любви тем и закончилось.

С ним вместе закончилась и наша дружба. Не потому мы разошлись, что почувствовали враждебность, или чтобы нас разделяла какая-либо противоположность интересов. Мы ни разу не вступали даже в спор и всегда чувствовали друг к другу взаимное уважение. Но нам недоставало общности мыслей и чувств, на которых строится всякая дружба. По части школьных знаний Фриц значительно отстал от меня, я же в области философии отнюдь не мог конкурировать с философом, у которого он не реже одного раза в неделю черпал из источника духовных интересов. Ничего удивительного, что взаимный интерес друг к другу скоро совсем прекратился. Поэтому я даже не знаю, долго ли он продолжал посещать семью Смитов. Что касается мисс Мэри Смит, то я впоследствии слышал, что она закончила свою карьеру в качестве наездницы в высшей школе и пожинала бурные успехи под именем „Мадам Элиз“.

БАНКИРСКИЙ ДОМ БРАТЬЕВ ГУТЕНТАГ

„В общем могу только сказать, что у братьев Гутентаг царит изрядный беспорядок, и если ваш племянник обладает хотя бы некоторой аккуратностью, он там может завоевать отличное положение“.

Такими, примерно, словами заканчивалось письмо, полученное моим дядюшкою Адольфом Розенбергом от служащего банкирской фирмы Роберт Варшауэр и К-о, некоего Зильбер-

берга, к которому он обратился за справками о фирме братьев Гутентаг.

Как я уже упоминал, он меня поместил весною 1866 г., после того как я оставил гимназию, в коммерческое училище, основанное учителем Соломоном, а пока что продолжал искать для меня подходящее место, куда я мог бы поступить в учение. Узнав, что в недавно основанной в Берлине банкирской конторе Гутентаг имелось свободное место, он принял меры, чтобы устроить меня там. Так как сведения относительно солидности и надежности фирмы оказались благоприятными, то он не обратил внимания на заключительные слова письма. И вот в конце октября 1866 г. я получил приглашение явиться к шефу фирмы Юлию Гутентаг в контору, расположенную на Купферграбене. Само собой разумеется, что я не замедлил последовать этому приглашению.

Я имею основание сомневаться в том, чтобы впечатление, произведенное мною на вышеназванного главу фирмы, было особенно благоприятным. В особенности, кажется, смущал его мой рост. Когда на вопрос о моем возрасте я ответил, что мне исполнилось 16 лет, он возразил: „Ну, и чертовски же вы малы для ваших лет", а между тем через 2 месяца мне должно было миновать целых 17 лет. Так как сам Гутентаг был елееле среднего роста, то можно вообразить, как я был мал в то время. Но рекомендации у меня были хорошие, а Юлий Гутентаг был человек добродушный, и таким образом я был милостиво принят. С 25 или 26 октября 1866 г. я стал постоянным учеником в банкирской фирме братья Гутентаг в Берлине.

В сущности говоря, судьба в данном случае ко мне благоволила. Правда, сведения, сообщенные Зильбербергом,—к слову сказать, в высшей степени порядочным и добросовестным человеком,—о том, что у братьев Гутентаг изрядный беспорядок, вполне соответствовали действительности. Но с точки зрения изучения дела это было для меня весьма благоприятным обстоятельством, так как я таким образом мог тем скорее познакомиться со всеми подробностями дела.

Основана фирма была в Бреславле, где отец моих шефов, стоявший во главе ее, выдвинулся на одно из первых мест в городе, начав совсем с маленького дела. Репутацией фирма пользовалась настолько хорошей, что к концу базарных дней торговцы являлись с набитыми деньгами сумками к братьям Гутентаг, чтобы дать у них подсчитать дневную выручку. Старик Гутентаг предоставил управление Бреславльской банкирской конторой своему компаниону, выдал сыну своему Юлию сумму, достаточную для того, чтобы открыть и вести в Берлине дело на широкую ногу, и сам впоследствии переехал в столицу, где вел существование рантье. Значительная часть

наиболее интересных клиентов бреславльской фирмы завязала сношения с берлинской фирмой: богатые силезские фирмы и банкирские дома из Франкфурта на Майне, Вены, Варшавы, Кракова, пользующиеся хорошим именем на международном рынке; к ним вскоре прибавились клиенты также из Амстердама и Парижа. Кроме выполнения поручений иногородних клиентов, берлинская фирма Гутентаг занималась также срочными сделками на фондовой бирже. Для последней отрасли положение представлялось особенно благоприятным. Облигации и займы Австрии и Соединенных Штатов, двух стран, финансы которых были сильно потрясены недавно закончившимися войнами, представляли собой широкое поле для спекуляции. Так например, когда я поступил в учреждение, шестипроцентные облигации Соединенных Штатов, которые должны были быть оплачены в золотой валюте не позже 1880—1884 г., продавались по курсу 75%; столь же низок был и курс австрийских государственных займов, так что можно было с известной уверенностью расчитывать на подъем курса этих бумаг в непродолжительном времени. Торговля акциями промышленных предприятий тогда еще не производилась в особо широких размерах. Тем большее место занимала продажа на срок железнодорожных акций. В то время в Пруссии, как и во многих других странах, большинство железных дорог все еще составляло собственность частных акционерных обществ, а одержанная Пруссией в течение лета 1866 г. победа над Австрией и прочими германскими союзными государствами позволяла ожидать большого подъема в торговых оборотах Пруссии. Напротив, в Гутентагской фирме кредитное дело,—учет векселей нуждающихся в деньгах промышленников и торговцев,—играло незначительную роль. Правда, фирма иногда скупала у менее значительных банкирских контор векселя, учитывая их за несколько более высокий процент, нежели государственный банк, а затем вновь переучитывая их по значительно более низким процентным ставкам, что было возможно в виду ее солидной репутации и кредитоспособности. Но о сколько-нибудь значительных сделках с так называемой городской клиентурой говорить не приходилось. Вследствие этого фирма не нуждалась в многочисленном персонале. Кассир, 4—5 конторщиков, 2 ученика и 2 рассыльных составляли вместе с главой фирмы весь персонал ее к осени 1866 г., а между тем банк располагал довольно значительными капиталами.

Работа, которую мне приходилось выполнять в качестве младшего ученика, была, естественно, работою вспомогательною. Я вел всякого рода вспомогательные книги и записывал в так называемых контрольных книгах №№ ценных бумаг и купонов в иностранной валюте, а также и названия фирм, упоминающихся на учитываемых векселях в качестве векселедателей,

вексeледержателей или поручителей. Работа, правда, порядком скучноватая, но зато она помогла мне ознакомиться со многими сторонами деловой жизни. Кроме того, в мои обязанности входило копировать письма и регистрировать их в копирной книге; наконец, в течение долгого времени я должен был ходить в средине дня за письмами на главный почтамт, так так письма из Саксонии и Западной Богемии не разносились немедленно по прибытии. Выполняя последнюю из моих функций, я не избегнул обычной судьбы учеников, являющихся на почту за письмами: в течение первой недели они спрашивают чиновника о том, нет ли писем для фирмы, в которой они служат; начиная со второй или в крайнем случае третьей недели, сознавая, что связь их с фирмой хорошо известна, они ставят вопрос иначе: нет ли для н а с почты? И никак не позже пятой недели в полном сознании своего достоинства вопрошают: для м е н я что-либо есть?

Вообще любопытно, как скоро такой молодой парень начинает чувствовать себя частью фирмы и мыслить и действовать в ее духе. Точно в тот момент, когда начинаешь вдыхать воздух фирмы, на тебя нисходит совершенно другой дух, чем раньше. Я припоминаю, что подчас, говоря в помещении фирмы о людях, по сравнению с которыми я в частной жизни был худосочным пролетарием, я отзывался о них с таким высокомерием, точно они были полными голяками. Меняются все точки зрения. Поэтому понятно, что когда в первые дни моего учения в фирме я задал наивный вопрос: „не правда ли, ведь выгодно, когда на хлебном рынке падает курс?“,—то сотрудник, к которому я обратился с таким замечанием, посмотрел на меня почти как на идиота. Его интересовали колебания курса исключительно с точки зрения заключенных фирмой сделок на повышение или понижение. Прошло немного времени, и я также стал рассматривать вещи с этой точки зрения.

Особо значительное место, занимаемое в деятельности фирмы сделками на срок, приводило к тому, что в последние дни месяца дела было очень много, и рабочий день чрезвычайно удлинялся. В те времена об оплате сверхурочных никто еще не помышлял. Служащие в банкирских фирмах представляли собой нечто вроде аристократии торговых служащих и рассматривали вопрос с соответственной точки зрения. Однако, фирма выказывала в данном случае полное отсутствие мелочности. К 8 часам вечера всех занятых еще работою приглашали в помещение рассыльных, которым задние комнаты были предоставлены под жительство, и там на столе вскоре появлялось огромнейшее блюдо жареной телятины со всякого рода приправами и в сопровождении большого количества бутылок пива. Все усердно принимались за угощение и проводили около часа в оживленнейшей беседе, прежде чем вернуться к работе.

В первый раз, когда мне пришлось пережить подобный конец месяца у Гутентагов, нас всех очень развеселил один из конторщиков по имени Фриц Кон, забавлявший нас исполнением куплетов из модного тогда водевиля „Часок в конторе“. Пьесы этой я не видел ни тогда, ни позже, но должен сказать, что комических сцен для подобного рода пьес можно было почерпнуть сколько угодно и в нашей конторе. С точки зрения комизма персонал был составлен как нельзя более пестро. Начать с того, что взаимоотношения между главою фирмы Юлием Гутентаг и корреспондентом, а впоследствии доверенным фирмы, Шнейдером представляли достаточную почву для всякого рода комических столкновений. Оба они были родом из Бреславля и посещали одну и ту же гимназию, с той разницей, однако, что Шнейдер преуспевал значительно больше легкомысленного сынка богатого дома. Он выдержал экзамен на аттестат зрелости и в течение полугода учился на медицинском факультете, но на первом курсе заболел тяжелою болезнью, угрожавшей ему туберкулезом костей и быстрым концом. Тогда он бросил учение и решил, как можно веселее прожить остающиеся ему годы. Он поступил на службу в банк и действительно наслаждался жизнью по всем правилам искусства. Впрочем, насколько мне известно, наслаждения эти, хотя он и не отказывался служить Венере, скорее продлили, нежели укоротили его жизнь.

В работе он был порядочным педантом и охотно высказывал богатство своих познаний, что иногда вызывало восхищение со стороны Юлия Гутентага, но иногда и поношение. Образцом первого может служить следующая, многократно повторявшаяся сцена.

Юлий Гутентаг (выходит из своего кабинета и подходит к столику Шнейдера): Шнейдер!

Шнейдер: Господин Гутентаг!

Юлий Гутентаг: Вы, кажется, изучали юриспруденцию?

Шнейдер: Нет, господин Гутентаг, медицину.

Юлий Гутентаг: Ну, ничего, ведь вы в ней толк знаете (и задает ему юридический вопрос).

А вот пример обратного.

Юлий Гутентаг (как в предыдущей сцене, но не приветливо): Шнейдер!

Шнейдер (натянуто): Г-н Гутентаг!

Юлий Гутентаг (раздражительно): Что вы опять написали этому молодцу в Лодзь? Этот польский еврей ведь ни слова не разберет (читает отрывок из письма, сочиненного Шнейдером): „Это дизажио вытекает из разницы в модусах“. А эта премудрость тоже вытекла из вашего модуса. Как же вы хотите, чтобы он в этом разобрался, когда он понятия не имеет о дизажио и модусе? Перепишите это письмо.

Шнейдер (обидчиво): Г-н Гутентаг, всякий деловой человек может это...

Юлий Гутентаг (перебивает его): Ах, пожалуйста, не спорьте. Вы можете выразить это как-нибудь яснее. В таком виде письмо не годится (бежит к себе обратно в кабинет).

Шнейдер (сердито, полушопотом, но так, чтобы коллеги слышали): Что за глупость! Сам ничему не учился, так как начиная с третьего класса только и умел списывать классные работы у других, а теперь хочет меня учить. (Однако, через некоторое время откладывает письмо и пишет новое.)

Хотя сотрудники были все между собой в хороших отношениях, однако не все оказывались в таких случаях на стороне Шнейдера. Над его напыщенными выражениями частенько посмеивались. По этому поводу веселый Фриц Кон прозвал его именем одного из трех легендарных юношей в пещи огненной—Азарией.

От остроумных выходок Кона не уберегся и я. Как и полагается ученику, я в первые месяцы обуреваем был совершенно неописуемым рвением. Когда однажды в порыве увлечения я бежал бегом через контору, весельчак Фриц Кон обратил внимание на мою фигуру и подозвал меня: „Эдуард!" Я повернулся в его сторону, и между нами произошла следующая сцена.

Я (обращаясь к нему по фамилии—вежливо, тогда как по старому обычаю учеников всегда звали по имени): Г-н Кон!

Ф. Кон (любезнейшим тоном): Завтра вас посадят за главную книгу.

Я (в полном восторге): Не может быть!?

Ф. Кон: Только смотрите, принесите с собой лестницу.

Я сразу как будто с неба свалился, отошел от него с таким видом, который должен был ему показать, насколько мне пришлось не по вкусу его обидное остроумие. Но я знал, что у него не было злого намерения, и в самом деле, несмотря на мой маленький рост, я через весьма короткое время действительно стал заниматься главной книгой. Правда, я ее еще не вел, хотя, как известно, для этого не требуется особых знаний. Но бухгалтеру, ведшему эту книгу, никак не удавалось подвести годовой баланс, и поэтому он заставил меня подсчитать еще раз все счета в главной и прочих книгах. Так как в то время об арифмометрах и в помине не было, то при моей близорукости, несмотря на то, что я считал хорошо, работа была довольно затруднительной. Поэтому Кон не так уж плохо выразился: мне не легко было, сидя на моей табуретке, охватывать взглядом огромные страницы главной книги, и я употребил на это дело не мало долгих вечеров.

Однако, провидение было на моей стороне. Однажды вечером, когда я трудился над бесконечными сложениями, наш

шеф—Юлий Гутентаг—зашел вечером в контору. Как только он меня увидел за конторкой, он подошел и спросил, что я тут делаю, и хотя в ответе моем не было никакого тона жалобы, тем не менее он немедленно побежал в задние комнаты. Через несколько минут вышел живший там рассыльный и принес мне три вкусных бутерброда и бутылку пива, что весьма отрадно подействовало на мое настроение. Но этим дело не окончилось. На следующий день двоюродный брат Юлия Зигмунд Гутентаг, заведывавший кассою, сказал мне, чтобы я, когда мне по вечерам приходится работать, не довольствовался бутербродами, но отправлялся в хороший ресторан, заказывал себе приличную порцию чего-нибудь горячего, а счет будет оплачен кассою.

Этот Зигмунд Гутентаг очень хорошо ко мне относился, и я многому полезному у него мог бы выучиться; он прожил долгое время в Вене, которая во многом превосходила Берлин, и вынес оттуда на ряду с порядочно развитым художественным чутьем также и привычку к более изящным формам жизни. Когда однажды в конце месяца я остался работать в послеобеденное время, он дал мне талер и сказал: „Пойдите хорошенько пообедайте, а чего не истратите, то принесите обратно". Я был настолько наивен, что сначала высчитал, во сколько может обойтись мой обед дома, и пришел к заключению, что дороже 30 пфеннигов он стоить никак не может; правда, за эти деньги никак нельзя было получить обед, разве что в простонародной харчевне (впрочем, тогда там иногда великолепно готовили), поэтому я отправился в харчевню, расположенную против цирка Ренца, пообедал там за 5 зильбергрошей, и так как я не счел возможным отнести за счет фирмы выпитое мною пиво и чаевые кельнеру, то вручил Зигмунду 25 зильбергрошей сдачи. Он ужаснулся. „Как это вы ухитрились пообедать?" спросил он меня. Я назвал ему харчевню. „Но ведь там не могут дать порядочного обеда", сказал он. „Дома мой обед стоит еще дешевле", ответил я. „Теперь вам полагается обедать за счет фирмы братьев Гутентаг, а не за счет семейства Бернштейн". На следующий день он пригласил меня с собой обедать в довольно хороший ресторан, и так как к обеду прибавлено было еще и какое-то французское блюдо, а затем кофе со сливками, то на мою долю пришлось, не считая вина, никак не меньше 20 зильбергрошей.

Какое нравственное влияние все это имело—видно будет из последующего, но мне кажется, я не ошибусь, если уж сейчас скажу, что обильная хорошая пища, которой мне приходилось теперь довольно часто пользоваться, несомненно оказала хорошее влияние на мое физическое развитие.

Я делал также успехи в изучении дел фирмы. Правда, изучать там было немного. Ни о каких широких перспективах

банкового дела у нас и говорить не приходилось. Мысль о том, чтобы исследовать социальные последствия того, что у нас творилось, никому не приходила в голову. Тогда господствовала идея хозяйственного либерализма о благотворном действии свободной конкуренции, а та область банкового дела, которою у нас преимущественно занимались, т.-е. биржевые сделки с ценными бумагами, казалась нам венцом всего. В этом деле, хотя я долгое время принимал в нем участие лишь в качестве вспомогательной силы, я вскоре научился рассуждать и действовать,—вообще овладел всем вопросом, поскольку он у нас разбирался.

Вместо „хотя" я должен был бы сказать—потому что, ибо потому, что я был лишь вспомогательной силой, меня привлекали к различным делам, давали проверять всевозможные счета, сопоставлять всевозможные сведения, и таким образом я имел случай ориентироваться во многом, что остается вне поля зрения большинства профессиональных бухгалтеров. Как я имел уже случай упомянуть, в то время, когда я был учеником, срочные сделки с ценными бумагами, т.-е покупка и продажа на довольно отдаленные сроки сдачи, играли большую роль в делах банковских фирм. Не станем здесь исследовать вопрос о том, насколько это явление обусловливалось несомненно существовавшим еще в то время неправильным соотношением между развивающимся спросом на денежном рынке на займы и прочими способами помещения капиталов, с одной стороны, и сравнительно незначительными размерами свободных капиталов в Германии—с другой. Несомненно, однако же, что соотношение это прямо-таки вызывало разнообразнейшие виды спекуляции. Заключались так называемые сделки на срок с премией, т.-е. сделки, при которых составлялись обязательства принять в определенное время известное количество определенных бумаг по определенному курсу, а в противном случае уплатить определенный процент в качестве возмещения—премию; или, наоборот, заключались обязательства доставить бумаги в определенный срок по определенному курсу, а в противном случае уплатить известный процент в качестве возмещения — премию. Бывало и так, что заключались сделки, соединяющие оба обязательства одновременно; при этих сделках покупатель обязывался к определенному сроку либо взять известное количество бумаг по условленной повышенной цене или же поставить известное количество по условленной же цене, уменьшенной. Были еще и другого рода спекуляции, при которых продавец обязывался по требованию покупателя представить ему, кроме заранее обусловленного количества бумаг, и дальнейшие партии их к определенному сроку и по условленной цене. Так например, помню один договор, по которому моему шефу принадлежало право в последнее число каждого

месяца в течение целого года „требовать“ определенное количество бумаг по определенной цене. Понятно, что такое право было ему продано только при условии, что он сразу согласится платить по повышенной цене.

Основанием для заключения подобного рода сделок служило то, что договаривающиеся стороны, смотря по природному своему расположению, рассчитывали либо на повышение, либо на понижение цены. При премиальных сделках главными мотивами было, как легко вообразить, намерение ограничить возможные потери на случай неожиданной перемены курса в ином направлении, чем какое ожидалось.

Правильно нащупать направление не всегда было легко, для этого необходимо было известное дарование в области расчетов. Приходилось всякий раз принимать во внимание образование цен, не зависящее ни от власти, ни от воли отдельных лиц. Но мой шеф приобрел в этой области своего рода виртуозность и пользовался в качестве стратега на поле премиальных сделок известностью, не всегда, впрочем, лестною.

В то время по утрам к нему приходил целый ряд биржевых маклеров, и тогда в его кабинете господствовало большое оживление. Присутствовавшие высказывали друг другу в глаза всякого рода истины, иногда даже юмористически их пересаливали. Поэтому мне приходилось из соседней комнаты слышать замечания, приводившие меня в немалое смущение, пока я не научился понимать, что они в сущности означали. Я в то время совершенно еще не понимал, какое влияние оказывали подобного рода сделки на экономическую жизнь Германии; впрочем, сообразить это было бы и не легко, так как касались они почти исключительно иностранных ценностей. Из бумаг, которыми спекулировали в то время на берлинской бирже, наиболее ходкими были американские и австрийские 3 и 5-процентные государственные облигации государственных займов, а также акции крупных железнодорожных обществ и известного частного австрийского „Кредитного общества“.

★

В конце 1866 г. помещение фирмы перенесено было с Купферграбен, в северную часть Фридрихштрассе, где мы заняли весь бельэтаж углового дома на Беренштрассе. Комнаты были почти все значительно просторнее, нежели комнаты на Купферграбен, и притом легче было уяснить себе суть дела. Тут только я приобрел общий взгляд на вещи и понял, что собственно разумел друг моего дядюшки под словами „изрядный беспорядок“.

Если не считать обоих рассыльных, из которых старший занимал со своею женою задние комнаты, выходившие на Фридрихштрассе, все сотрудники были холостые. Так как ни-

кому из служащих не перевалило за 30 и разве один-другой достигли 25-летнего возраста, то в отсутствие шефа господствовал тон, свойственный молодым людям. В особенности никто не думал скрывать своего отношения к особам женского пола. Рассказывали вслух о том, в каких танцклассах подвизались, и, кроме того, о том, с какими девушками вступили в интимную связь, и помимо того разбирали достоинства всякой молодой женщины с совершенно определенной точки зрения.

В другом угловом доме того же перекрестка, расположенном наискосок от нас, помещался в то время большой магазин дамских платьев фирмы Бонвит, Литауэр и Пикар, и в его окнах выставлены были новые материи и платья. Неудивительно, что у выставки охотно останавливались дамы. Но дамы эти, обозревавшие окна, расположенные в нижнем этаже, в свою очередь „обозреваемы были“, поскольку это возможно было сделать с бельэтажа, сотрудниками фирмы Гутентаг.

Сигнальщиком выступал, разумеется, все тот же Фриц Кон. Если только погода благоприятствовала гулянью, то в вечерние часы между 4 и 6 пополудни то и дело раздавалось из его уст восклицание: „Шнейдер! (короткое молчание). Вот так штучка!“ И всякий, кто только сидел у окошка, кидался разглядывать и обсуждать достоинства „штучки“.

Правда, к числу этих любителей я не относился. Но признавалось и за мной, как за учеником, право принимать участие в подобного рода беседах; спрашивать не приходилось,— надобно сказать, что у меня не было ни малейшего желания это делать. Не в том дело, конечно, чтобы я относился совершенно безразлично к возможности полового общения с женщинами. Я находился под влиянием людей, которым доставляло подлинное удовольствие вызывать во мне такое желание. Но сознание, что мне недостает ни финансовых, ни физических средств добиться благосклонности проходящих „штучек“, внушало мне полное к ним равнодушие. Поэтому мне и в голову не приходило равняться в такого рода делах на взрослых сотрудников.

Притом я уже не был младшим учеником. Тот ученик, которого я застал, когда вступил в фирму Гутентаг, успел уже покинуть это место. Он был очень милый юноша, симпатичный мне уже по одному тому, что в нем подобно мне билась поэтическая жилка. Так например, одно из его стихотворений, с которым он меня познакомил, включало постоянно повторяющуюся рифму: „все мы, все поклоняемся божественной Этерпе“. Но его служение музам подвинулось дальше, нежели мое. Он нашел его несовместимым со службой в банке и перешел в садовники. Не знаю, дало ли ему это занятие полное удовлетворение, ибо, как ни поэтична продукция садоводства, работа садовника в большинстве случаев довольно не поэтична.

К счастью, он был не в пример мне парнем здоровым, и быть может, поэтому жизнь садовника пришлась ему по душе. В банкирскую контору вступил в качестве младшего ученика старший сын весьма состоятельного крупного торговца, упитанный и очень добродушный юноша, которому никакой опасности со стороны муз не угрожало.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 1866—1869 ГОДОВ

Чем старше я становился, тем более сближался с сестрой моей Кларой, тремя годами старше меня. Раньше я смотрел на нее преимущественно снизу вверх. Ее чрезвычайное умение работать и в школе и по хозяйству, ее крайняя аккуратность и любовь к порядку внушали мне тем большее уважение, что она представляла собой полную противоположность моим недостаткам. Когда она привлекала меня к участию в некоторых работах по домашнему хозяйству, я следовал ее распоряжениям без особого сопротивления. Хотя я и протестовал, когда она отзывала меня от увлекательных игр со сверстниками, чтобы помочь ей вертеть ручку катка после стирки белья, однако я повиновался ей, даже не слишком долго дулся. Я спокойно подчинялся ее деловым указаниям и всячески старался устроить работу на подобие игры, и вскоре мы с нею так действовали вместе, что я забывал о покинутых на улице товарищах по играм.

Еще охотнее я исполнял другого рода обязанности по отношению к ней, а именно провожал ее по вечерам, когда она засиживалась у подруг. Так как поблизости от нашего дома не было никаких дешевых средств сообщения, так оживляющих ныне ту часть города, то ей не пришлось бы ходить в гости, если бы некому было ее провожать по вечерам. Ведь в то время молодой девушке ходить поздно вечером одной по улицам совершенно не полагалось. Поэтому мне приходилось за ней ходить, и я тем охотнее принимал на себя эту обязанность, что награда заключалась в самой обязанности. Семейства, у которых бывала моя сестра, приглашали меня посидеть у них, угощали меня всякими лакомствами, которые подавались к столу, и в конце концов часто просили меня прочесть какое-либо стихотворение или юмористический рассказ для увеселения всего общества, что я весьма охотно исполнял. Я знал немалое число шуток и анекдотов, подходящих для этой цели, но редко обходилось без придачи к ним собственных произведений более серьезного характера, которые, как я полагал, свидетельствовали о моем поэтическом призвании.

Так например, я припоминаю стихотворение „Роковой сон", которое я особенно охотно читал вслух. Речь шла о довольно банальной в сущности мысли—о борьбе между светскою суе-

тою и стремлением к вечности. Но так как я избрал для выражения своих мыслей не совсем обычные формы терцины, то впечатление производилось довольно сильное. После заключительных строк—

> И голос я услышал с высоты:
> „Закрыта, смертный, вечность пред тобой!“
> Страх охватил меня, и я проснулся—

обычно кто-либо из барышень выражал похвалу: „как остроумно!“, и тем самым я бывал щедро вознагражден за все мои вечерние труды.

По пути домой я был весь преисполнен мыслей о рыцарской защите моей сестры. Но так как она была стройна, а я все еще оставался весьма маленького роста, то выполнить мои намерения не всегда оказывалось удобным. Так однажды, когда мы в 12 часов ночи переходили площадь „Доброго согласия“, произошла следующая сцена.

Изящно одетый господин, меня не заметив, подошел к сестре со следующими словами: „Как, сударыня, так поздно ночью и одна?“ Сестра в негодовании воскликнула: „Вы с ума сошли!“ и бежит вперед по направлению к дому, между тем как я подхожу к неизвестному и тоже с негодованием заявляю: „Милостивый государь, эта особа—моя сестра“. Тот смотрит на меня вниз, принимается хохотать и отправляется своей дорогою. Но когда я догнал сестру, то оказалось, что смеялась и она. Вышло так, что, услыхав мой голос, она обернулась и не могла не рассмеяться, увидевши, как я, карапуз, подошел с гордо поднятою головою к настоящему мужчине. Чтобы не обидеть меня, она прибавила: „Все же ты это великолепно сделал“.

Духовно мы настолько сблизились, что можно было говорить об общности духовных интересов, правда, не особенно возвышенных, ибо содержание их составляли романы. Впрочем, интерес этот не был лишен и идеологического момента, в зависимости от характера романов, которые нас интересовали. То было время, когда немецкий роман перерабатывался под влиянием Ауэрбаха, Шпильгагена и их присных, когда в этих романах выражались духовные стремления прогрессивного либерализма, чем мы оба восхищались. Должен сознаться, что когда Клара встречала меня по возвращении домой радостным известием, что в журнале „Gartenlaube“, доставлявшемся к нам на дом братом моим Адольфом, начался новый роман,—то я прежде всего спрашивал, идет ли в нем речь и о л ю б в и. В этом вопросе выражалось только мое удовлетворение по тому поводу, что я, стало быть, буду иметь возможность принимать участие в беседах по поводу любовных конфликтов, изображаемых в романах. Конфликты эти я принимал так, как они

описывались в романах, как проблему чисто душевной жизни. Что в романе тщательно избегали всякого указания на специально сексуальную сторону, вполне соответствовало моему собственному пониманию хорошего тона. Как ни близки мы были с сестрой, но все же ничто не могло быть неприятнее, чем необходимость отступить от подобного рода границ в беседе с ней. Я никогда не мог рассказать ей или хотя бы в ее присутствии никакой бесцеремонной шутки, которую я позволял себе в веселую минуту преподнести ее подругам. Как ни была проста она в обращении, но в ее личности было нечто, на что указывает Шиллер в стихотворении „Дева с чужбины“:

Но недоступным совершенством
Дышало гордое чело.

При таком настроении неудивительно, что не только роман Ауэрбаха „На высоте“, но и печатавшаяся тогда в „Gartenlaube“ „Тайна старой девы“ Элизы Марлит возбуждали у нас великий восторг.

Да, Марлит! У меня нынче нет времени следить за изящной литературой. Поэтому я не прочел ни одного из романов г-жи Куртс-Малер и не могу судить, насколько правильно поступают, сравнивая ее с предшественницей ее, писавшей под псевдонимом Элизы Марлит, из произведений которой я тоже прочел немного. Но „Тайна старой девы“ была настолько несомненно шедевром писательницы, что остроумный Оскар Блюменталь мог осмелиться предложить в своих злых эпитафиях для живых следующее двустишие для могилы Евгении Джон, никогда не бывшей замужем:

„О, если бы все, что ты написала, и осталось тайной старой девы“.

Шутка была не так уж плоха, потому что ничто из написанного Марлит не могло сравниться с этим ее романом, в нем она прекрасно обрисовала характеры, и весь он дышал буржуазным либерализмом, выражавшим лучшие мысли того времени. Поэтому в то время, когда либерализм вновь стал себе вербовать широкие круги, читающая публика приняла этот роман с восхищением, которое вряд ли когда-либо может повториться. Каждый вновь появляющийся номер „Gartenlaube“ немедленно раскупался и переходил из рук в руки. Когда однажды дядюшка мой Адольф Розенберг написал откуда-то из провинции сестре моей Кларе и просил ее купить для него последний номер „Gartenlaube“, а Клара пожелала исполнить его поручение, все ее усилия оказались бесплодными. В каждой книжной лавке, где она спрашивала журнал, ей отвечали одно и то же: „К сожалению, все распродано“. И почти всегда прибавляли в виде утешения: „Но „Тайна старой девы“ еще

не окончена!" Всюду предполагали, как нечто само собой разумеющееся, что требовался именно этот роман, и действительно в большинстве случаев это так и было.

Что касается меня, то в то время один только немецкий роман произвел на меня впечатление еще более сильное, нежели творение Марлит, а именно „На высоте" Бертольда Ауэрбаха; роман этот действительно представляет собой наиболее удачное выражение беллетристического творчества философски образованного автора. Я не мог оторваться от чтения и перечитывания этой книги, и каждый раз, когда брал ее в руки, чувствовал подъем духа и был счастлив тем, что сестра Клара разделяет мои чувства. Мне казалось невозможным написать что-либо более прекрасное. Как бы то ни было, должен сказать, что как ни превосходит умственный уровень ауэрбаховского романа роман Марлит, тем не менее если бы мне пришлось перечесть обе книги, я бы, вероятно, отдал предпочтение „Тайне старой девы". Пишу это, правда, на основании воспоминаний, так как прошло по меньшей мере полвека с тех пор, как я держал в руках эти оба произведения. Но то, что мне запомнилось с того времени, заставляет меня считать произведение Марлит при всей его простоте более подлинным художественным произведением, нежели искусственно сплетенный роман Ауэрбаха.

Однако, чтение обеих указанных книг и беседы по поводу их с сестрой Кларой не могли оказать полного противовеса влияниям, угрожавшим мне с совершенно другой стороны.

ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ

Хотя невинные развлечения, происходившие по воскресеньям после обеда у супругов Вейссов, и прекратились, мы продолжали поддерживать с ними дружественное знакомство и встречались почти не реже прежнего. Не могу сказать, чтобы это послужило мне на пользу.

Правда, в самом доме Вейссов не происходило ничего такого, что могло подействовать развращающе на молодого человека. Конечно, трудно было совершенно скрыть, что сам Вейсс постоянно бывал в долгу, как в шелку, и прибегал ко всякого рода ухищрениям, чтобы отвертеться от своих кредиторов. Однако, самый факт постоянной вынужденной игры в прятки, право, не мог возбудить желания следовать примеру такого способа ведения хозяйства, имеющего своим последствием эту игру. Наконец, фрау Вейсс, дочь занимающего хорошее место протестантского пастора в одном городке восточной Пруссии, изо всех сил старалась поддержать тон дома на уровне приличий, имеющихся в этой среде.

Муж ее поддерживал эти старания, поскольку они простирались на внешнюю жизнь. Но не то было при более близком знакомстве. Так например, в беседах со мною Вейсс далеко выходил за пределы свободного обсуждения вопросов половой жизни, возможного со стороны пожилых людей в отношении к подрастающему юношеству. Если вести эти беседы в надлежащем тоне, то они не только не оказывают дурного влияния на молодежь, но, наоборот, могут на нее подействовать весьма благотворно. Вейсс, напротив, находил удовольствие в том, чтобы показывать мне картинки и читать произведения, не допускающиеся к публичной продаже, так как они преследуют исключительно цель возбудить половое чувство. Он постоянно выражал мне свое удивление по поводу, того что я, юноша 16—17-летнего возраста, все еще не знал женщин, тогда как он сам стал подвизаться на этом поприще с 13-летнего возраста. При этом он рассказывал мне вещи, мало способствующие тому, чтобы научить юношу, вступающего в период половой зрелости, справиться с бременем его.

В то время я не задавал себе вопроса, не преследовал ли он при этом каких-либо особых целей. Теперь думаю, что, пожалуй, так оно и было. После интимных разговоров он постоянно принимался восхвалять прелести сестры моей Клары, образ которой его якобы не покидал ни днем, ни ночью, и весьма возможно, что он питал желание заставить меня ей об этом рассказывать; я, конечно, этого не сделал. Во-первых, я слишком хорошо знал Клару, чтобы сомневаться в том, что подобные разговоры не только не польстят ей, но, наоборот, возмутят ее до крайней степени; а, кроме того, интимничание со стороны Вейсса окончательно уничтожило во мне всякую тень уважения к нему. Я видел в нем только преисполненного низменных инстинктов жуира, с которым я старался не поддерживать никаких сношений, кроме вытекающих из семейного знакомства.

При всем том литература, с которой он меня познакомил, произвела на меня известное впечатление, и впечатление это было тем прочнее, что помимо всего того, что приходилось мне слышать в конторе братьев Гутентаг, я встречался с одним моим сверстником, которого я также не могу назвать иначе, как приятелем опасным.

Сверстник этот был не кто иной как упоминавшийся уже ранее Жан Кабанис. В описываемое время он стал искать со мною сближения столь настойчиво, что пришлось бы его образ действий назвать навязчивым, если бы я не отвечал ему расположением, коренившимся в моем глубоком убеждении относительно его художественных дарований. Поэтому предпочитаю употребить более мягкое выражение, а именно—сказать, что он ко мне привязался. Оставляю открытым вопрос о том,

насколько в данном случае им руководили дружеские чувства по отношению ко мне. В нем они существовали несомненно, но трудно также полагать, чтобы они одни являлись решающим мотивом. Материальные выгоды чересчур веско определяли его симпатию.

Из нас двоих Жан был человеком без всяких средств, я же, хотя и относительно, являлся теперь человеком состоятельным. Когда прошло шесть месяцев после моего поступления на службу, мой шеф по собственному почину, без всякой просьбы с моей стороны, положил мне небольшое месячное вознаграждение, а щедрость его родственника-кассира давала мне возможность увеличить этот небольшой заработок. Жан же в один прекрасный день после резкого столкновения с отцом покинул родительский дом и жил у бабки, которая сама еле сводила концы с концами. Поэтому за всякой мелочью ему приходилось обращаться ко мне. Так например, по вечерам он поджидал меня у выхода из конторы и тащил меня с собой в пивные, представлявшие для него великую притягательную силу.

Мы бывали в течение довольно долгого времени в ресторане Гарейс, поблизости ст Фридрихштрассе. Это было заведение с женскою прислугою и развлечениями, называемыми истыми берлинцами „чириканьем арфянок“,—маленький оркестр, члены которого были по большей части родом из Богемии, ублажали посетителей музыкою и пением под аккомпанемент арфы. Капелла, выступавшая у Гарейса, находилась в заведывании четы по фамилии Пардубитц. Одна из оркестра, хорошенькая стройная блондинка, скрипачка, сразила сердце Жана. Он явно за ней ухаживал и принимал все меры к тому, чтобы заставить ее отдаться ему. Но как он ни привык к успеху у женщин, и хотя фрейлен Мари, — кажется, так ее звали, — не без удовольствия на него поглядывала, тем не менее цели своей он добиться никак не мог. Ему никогда не удавалось остаться с ней наедине, хотя бы на короткое время. Она вместе с товарками своими жила в семействе Пардубитц. Под каким предлогом он ни приходил к ней,—одно время он пробовал писать с нее портрет,—он всегда заставал у нее по крайней мере хоть одну из ее товарок.

На это все ушло, однако, не мало времени, и хотя я вскоре знал наизусть весь репертуар оркестра, однако я позволял Жану каждый почти вечер увлекать меня в ресторан Гарейса. При этом большинство посетителей и тон, господствовавший в их разговорах, отнюдь не приходились мне по вкусу. Музыкантши вели себя весьма сдержанно, зато посетители вознаграждали себя за счет кельнерш по части выражений и рукоприкладства; они обращались с ними, как с проститутками. И действительно, в задних комнатах ресторана, где подавались только дорогие сорта вин, и куда я никогда не заглядывал,

дело происходило совершенно, как в публичном доме. Посетители были большей части сынки из состоятельных семейств, в том числе и некоторые отпрыски известных дворянских фамилий, и одно то обстоятельство, что я в обществе их не мог себя чувствовать как среди равных, заставляло меня держаться от них подальше.

Зато Жан и я часто подсаживались к одному из столиков, где сидел некий отставной капитан по фамилии Геришер или Еришир. Он был человеком не без образования, не шокировавший своими видом и манерами, а также никогда не старавшийся бравировать своей прежнею карьерою. Шеф мой выписывал только что основанную газету, венскую „Neue Freie Presse"; в газете этой часто появлялись фельетоны, подписанные известными литераторами того времени. Как только шеф отправлялся домой или на биржу, я с жадностью глотал эти фельетоны, и поэтому для меня было немалым удовольствием вечерами, пока Жан ухаживал за музыкантшей, беседовать с г-ном фон-Геришер о том, что мне удавалось прочитать. Но вот однажды я узнал от Жана, что господин этот был педераст, что раз вечером он вышел во двор вслед за Жаном и затем стал его страстно обнимать и целовать. Несмотря на все, что мне приходилось слышать и читать, я все еще был настолько наивен, или вернее легкомыслен, что не догадался спросить Жана, кончилось ли этим все дело. Не задумался я также о том, что капитан был также на ты с некоторыми из юных завсегдатаев задних комнат Гарейского ресторана, но все же я стал чувствовать себя неуютно за его столиком и предпочитал уходить с Жаном по вечерам в Калленбахский театр. К тому же низкие цены за вход менее опустошительно действовали на мой кошелек, нежели денежные сборы на оркестр Пардубитц, а художественный уровень был там все же выше.

Однако, мне ни на минуту не приходила мысль, какого рода опасность угрожала мне со стороны капитана. Я слишком хорошо сознавал, как невыгодно отличалась моя наружность от внешности Жана. В разговорах со мною капитан никогда не употреблял сколько-нибудь двусмысленных оборотов и всегда обращался со мной так, точно признавал за мной умственный уровень, значительно превосходивший мое собственное мнение о себе. Вообще в то время в этом отношении выходило со мной любопытное дело. Ничто во мне не указывало на человека с высшим образованием,—как ни был я близорук, я не носил даже очков. Но тем не менее у Гарейсов все обращались со мной, как с человеком академических кругов,—кельнерши так и называли меня „докторчиком". Однако, если бы не моя мучительная застенчивость, я бы предпочел обращаться с ними, как истинный студент. А пока что я оставался на практике только „человеком".

ПОТЕРЯ МАТЕРИ

Когда сестре Кларе подходило к 20 годам, дядюшка мой Адольф Розенберг стал беспокоиться, что ей, бесприданнице, пожалуй, угрожает судьба старой девы,—в те времена, особенно у евреев, это считалось великим несчастьем. Поэтому он, с согласия нашей матушки, написал в Нью-Йорк сестре Фанни и ее мужу, изложил им положение вещей и запросил, расположены ли они выписать к себе Клару. Так как в Америке было тогда сравнительно больше мужчин, нежели женщин, то красивая, милая и порядочная девушка, несомненно, должна была вскоре найти подходящего жениха.

Ответ не заставил себя долго ждать. Он был категорически утвердительным, и у нас немедленно принялись за приготовления к отъезду. Сестра должна была отплыть через порт Бремен на пароходе Бременского Ллойда.

Как ни хотелось сестре Кларе пуститься в путь, расставанье с родиной было очень тяжело. Одушевленный наилучшими намерениями, мой брат Адольф устроил так, что последний вечер прошел весьма тягостно. Чтобы облегчить Кларе прощание с ее закадычной подругой Идой Тиде, он уговорил последнюю потихоньку уйти, не попрощавшись с Кларой. Конечно, обеим девушкам от этого стало еще тяжелее. Когда я провожал Иду вниз по лестнице, я пытался ее утешить, она же все время заливалась слезами, а Клара, узнав, что Ида ушла, была безутешна. Но еще тяжелее, нежели это, было для нее на утро расставание с матерью. Я долго не мог забыть раздирающего тона, которым она со слезами обратилась к матери, изо всех сил ее обнимая: „Будь только здорова, а я к вам вернусь“. Она не могла оторваться от матери, все бросалась обнимать и целовать ее, пока почти насильно увезли ее. Всю дорогу до вокзала она была в том же отчаянном настроении и постоянно повторяла нам,—отцу, который должен был сопровождать ее до парохода, брату Адольфу и мне: „Я только боюсь за маму“.

Страх ее имел слишком много оснований. Любящее око дочери яснее узрело опасное состояние матери, нежели муж и сыновья. При своем полном самозабвении, мать все время думала лишь о счастьи дочери и старалась перенести разлуку с нею с истинно стоической выдержкой. Дядюшка Адольф Розенберг приехал к нам на следующий же вечер после отъезда Клары, чтобы утешить мать, и был прямо-таки разочарован, когда ее изумительнейшее душевное спокойствие, казалось, не требовало никакого утешения. Но она переоценивала свои силы. На первых порах она делала все от нее зависящее, чтобы заменить дочь в работе по хозяйству, но эти возможности были весьма ограничены. Уже осенью 1867 г.

и в первые месяцы 1868 г. все увеличивавшаяся слабость показала, что она слишком много брала на себя. В марте 1868 г. она слегла в постель и больше не вставала. Ее измученное тело не могло оказать сопротивления разрушавшему ее силы туберкулезу.

Еще до наступления этой стадии часто по вечерам я сидел с ней, когда она, уложивши младших детей спать, занималась штопанием всякого рода вещей. Тогда она, бывало, рассказывала мне разные эпизоды из своей прежней жизни, говорила о заботах, причиняемых ей моими старшими братьями, жившими уже самостоятельно, говорила и о многом другом, что ее заботило, и таким образом мало по малу я научился ближе заглядывать в ее душевную жизнь и стал истым ее доверенным. Поэтому оказалось возможным, что я однажды со своей стороны доверил ей то, чего в другое время ни за что не рассказал бы.

В те времена в Берлине была очень развита уличная проституция. Публичные дома были закрыты еще в царствование Фридриха Вильгельма IV, как говорят, по желанию его супруги. Но то, что заменило их, вряд ли могло почитаться меньшим злом. Несчастные женщины, как мне пришлось впоследствии убедиться, и при так называемой „свободной проституции“ отнюдь не могли считать себя свободными. Двоякого рода гнет, о котором здесь не место распространяться, держал их в рабстве, хуже которого не могло быть в самом ужасном публичном доме. В некоторых частях города они по вечерам навязывались прохожим в совершенно отвратительных и унизительных формах.

К числу таких частей города относился и дом в южной части Фридрихштрассе, а также и первые дома за Галльскими воротами, по ту сторону канала. Мне приходилось проходить по этим улицам, возвращаясь вечером из конторы домой, и каждую минуту ко мне обращались предлагающие себя женщины.

Тем временем мне исполнилось 18 лет,—возраст, в котором юноше полагалось из соображений здоровья время от времени иметь половые сношения. Часто бывало и так,—а в прежнее время таков был и всеобщий обычай в мещанских кругах,—что отец давал сыновьям, достигшим этого возраста и не имевшим самостоятельного заработка, необходимые деньги и снабжал их соответственными указаниями. Репутации юноши нисколько не вредило, если оказывалось, что у него была незаконная связь, если только он соблюдал некоторые формальные правила. Зато почиталось доказательством большой отсталости, если молодому человеку приходилось сознаться, что он еще не знал женщин. Так по крайней мере было некоторое время и со мною. В конце концов я стал стыдиться этого признания.

Поэтому последовать приглашениям, иногда прямо-таки мольбам, публичных женщин мешали мне отнюдь не соображения морального порядка. Просто у меня не было еще необходимого полового влечения. Отпугивала меня смесь физической и эстетической боязливости. Когда я однажды сдался на просьбы одной из этих женщин и отправился за ней, то через несколько шагов меня охватило настолько сильное и неприятное чувство, что я стал размышлять, каким образом мне от нее уйти, ее не обидевши. Наконец, я нашел средство и, проходя мимо открытой еще кондитерской, попросил ее подождать меня минутку, взошел, купил на 5 зильбергрошей сладких пирожков и вручил ей со словами: „вот возьмите печение, а меня извините, я очень тороплюсь“, и со всех ног бросился бежать.

Вначале девушка совершенно онемела, а потом, вероятно, догадалась, почему я так торопился, и громко расхохоталась. Я же бежал все быстрее и, наконец, весь в поту добрался до дому.

Матушка заметила, что со мною что-то неладно, и спросила, что случилось. Я был настолько под впечатлением происшедшего, что рассказал ей все, и очень дурно поступил, потому что таким образом бесцельно причинил бедной женщине весьма тяжелое огорчение. Она ничего не сказала, да и что могла она мне сказать? Вопросов половой жизни мы с нею не обсуждали. Понятия о приличиях, в которых она выросла, делали эти разговоры с сыном для нее невозможными. Она только молча посидела, а затем также молча стала продолжать рукоделие, за которым я ее застал. Очевидно, она не нашла удовлетворительного ответа на вопрос, заданный ею себе самой после моего рассказа, и не знала, должна ли она прочесть мне серьезное предостережение или же, согласно господствующим взглядам на половую потребность и право молодых людей, рекомендовать мне только одну осторожность. Я со своей стороны не поднимал вопроса на этот счет, и мы долго просидели вместе молча, пока не настало время итти спать. Когда я с нею прощался, она только сказала мне взволнованным голосом: „Следуй всегда движениям твоей души“. Совет, который я не знал как исполнить.

Отец мой, которому она несомненно рассказала об этом разговоре, также не стал со мною на эту тему беседовать. Он только попросил меня, чтобы я прекратил знакомство с Жаном Кабанис. Однако, Жан совершенно не принимал участия во всем этом происшествии, и, кроме того, он далеко не был единственным, рекомендовавшим мне вступить в сношения с доступными женщинами. Если бы я с ним не был близко знаком, все же меня не миновали бы эти соблазны. Возникали они со всех сторон.

И однажды случилось, что я действительно отправился к одной из девушек, жившей поблизости от Фридрихштрассе. По внешности и обращению она не производила неприятного впечатления, однако воспоминанием, вынесенным мною из этого посещения в эстетическом отношении, было сильное разочарование. Но лед был сломан, и я научился впоследствии примиряться с тем, что казалось мне отталкивающим. От матери я все это скрыл, что было довольно легко сделать, так как она уже не покидала постели.

В течение довольно еще долгого времени я не имел представления о том, насколько серьезно она больна. Ко дню ее рождения—2 марта,—последнему в ее жизни, я приготовил ей довольно дорогой подарок,—купил всяких вещей, нужных ей по хозяйству,—и состряпал текст поздравительной пьески на мотив „На свежем Кольбергском лугу“, которую мы с младшими братьями и сестрами исполнили утром у ее постели. Но она была уже настолько слаба, что почти безучастно отнеслась к ней. С каждым днем ее силы падали все больше и больше, и пришлось пригласить сиделку ухаживать за ней по ночам. С наступлением июня ее младшая сестра Цецилия и живший вместе с последней брат ее Адольф решили перевезти ее в свою общую квартиру на Потсдамской улице, где ей должно было быть много удобнее, нежели дома. Однако, с большой любовью предоставленный ей комфорт не мог смягчить ее страданий, и дни ее были сочтены. Когда ее увозили в коляске из нашего дома, меня не было, а когда я спустя несколько часов возвратился домой из конторы, соседи, видевшие, как ее перевозили, говорили мне, что невозможно ожидать ее возвращения домой,—до того безнадежное впечатление она производила. Дело было в субботу. На следующий день я пошел к ней и застал ее очень дурно выглядевшей и чрезвычайно слабой. Однако, впечатление у меня осталось не безнадежное. Оно оказалось ошибочным. Когда на следующий день я воротился с работы домой, мой младший брат, семилетний Рихард, выскочил на улицу с характерным для его возраста восклицанием: „Эдуард, иди скорее наверх, там уже брат Адольф, вот-то ты поплачешь!“ Этих слов было с меня достаточно. В квартире я застал старшего брата, пришедшего сообщить нам, что наша матушка скончалась в ночь с воскресенья на понедельник. Но как ни глубоко поразило меня это известие, тем не менее предсказание Рихарда не оправдалось, плакать мне не было суждено. Обстоятельство это меня чрезвычайно удручало, ибо я считал слезы данью любви со стороны оставшихся по отношению к ушедшим и совершенно не мог себе объяснить, почему они у меня отсутствовали. Я считал сам себя бессердечным и не освободился от этого чувства и тогда, когда, отправившись на квартиру, где покоились ее останки, застал ее брата и сестру

вполне овладевшими собой; те также без слез рассказали мне о последних ее минутах. Конечно, и они ее очень любили, но для них, говорил я самому себе, она не была тем, чем была для меня, и поэтому от них не требовалось по отношению к ней того чувства, которое полагалось мне иметь. Весь остаток дня я провел в мучительном, раздвоенном состоянии. Только когда я лег в постель, новые соображения дали мне успокоение.

КРУШЕНИЕ ВЕРЫ В ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ

С того момента, когда мне сообщили о кончине матушки, меня стала занимать мысль о том, существует ли для меня надежда встретиться на том свете со столь дорогим мне человеком. Однако, всякого рода повседневные заботы не дали мне продумать эту мысль до ее логического конца. Только когда я вечером лег в темноте в постель у себя на вышке, я долго предавался размышлениям на эту тему; прошло не мало времени, покуда я нашел разрешение вопроса, давшее мне некоторое успокоение.

Дело это было для меня нелегким. Я уже рассказал, что еще на 16-м году жизни я относился довольно скептически к вере в личного бога, заботящегося о судьбах отдельных людей. Скептицизм этот во мне порядком укоренился, хотя я в те времена не читал еще ни одного атеистического сочинения. Возможно, что развитию скептического отношения способствовал продолжительный разговор, происшедший у меня в те времена с одним рабочим, жившим в соседнем доме, человеком уже женатым, у которого часто бывали мой приятель Карл Кеппен и еще другой наш товарищ. Из этого разговора запомнилось мне только то, что на мой вопрос, для чего мы собственно живем на свете, он ответил: „Сходи-ка на кладбище и посмотри, как там хорошо растет трава на могилках, вот тебе и цель“. Считаю вполне вероятным, что вопрос мой вызван был атеистическими мыслями, высказанными им ранее. Однако, я их не запомнил, между тем как вышеприведенный ответ произвел на меня тем более сильное впечатление, что он сперва чрезвычайно оттолкнул меня своей резкостью, но вместе с тем оказал потрясающее впечатление, так что я не мог впоследствии над ним не задуматься.

Рабочий этот был по профессии печатник и, вероятно, состоял членом существовавшего тогда в Берлине союза печатников. Вместе с окружающей его молодежью он предавался довольно невинным занятиям, а именно—преимущественно пению, причем политическая песня у них не играла никакой роли, не говоря уже о социалистической, которой тогда вообще почти не существовало.

При размышлениях о возможности встретиться с матушкой, мне, между прочими мыслями, припоминались и выше приведенные слова того рабочего. Но они мне не могли оказать помощи. Наоборот, решительное влияние на меня оказал тот аргумент, который заставил меня скептически относиться к вопросу о существовании личного бога. Полагалось бога этого воображать не подобным человеку и не схожим с человеком, но вместе с тем, в виду развития наших мыслительных способностей, мы не можем представить себе творца, руководящее существо, иным, нежели похожим на человека, и не можем чувствовать ничего по отношению к существу, на человека не похожему. Противоречие это, рассуждал я далее, делает задачу для нас неразрешимой, и поэтому совершенно безразлично, веруем ли мы в это существо, вообразить которое мы не в силах, или не веруем. Точно так же, заключал я дальше, немыслимо, чтобы я встретился на том свете с матушкой, тем существом, которым она была при жизни, т.-е. с оживленным телом, с телесными свойствами и с душевной жизнью. Потустороннее существование можно мыслить лишь, как существование бестелесной тени, без всего свойственного живому телу и, стало быть, без душевной жизни. В таком случае, как я мог дорожить встречей с подобной тенью, какого душевного подъема мог я от такой встречи ожидать, раз я сам должен был превратиться к тому времени в бездушную тень? Чем больше я вдумывался в эти мысли, тем громче говорило во мне сознание: встреча на том свете немыслима. Мною овладевала оторопь, и я пришел к заключению, что встреча, о какой я мог мечтать в прежние годы, немыслима, и что единственно мыслимая встреча не представляется даже желательной. Сознание этого было для меня на первых порах ужасно, но справиться с горечью его помогла мне мысль, что, несмотря на это, усопшие продолжают жить в нас самих, продолжают жить в наших собственных воспоминаниях. Этой мыслью я и утешился, поклялся самому себе сохранить в душе моей образ матушки, покуда я сам буду жив, и больше не печалился по тому поводу, что мне было отказано в даре слез, ибо она, матушка моя, для меня не умерла, а жива.

Я стал понимать отношение дядюшки моего Арона Бернштейна к кончине его старшей дочери Фанни. Он очень сильно любил эту дочь, чрезвычайно славную женщину. Оставшись шестнадцати лет после смерти матери, она взяла в свои руки ведение домашнего хозяйства и воспитание младших сестер и братьев и занималась этим трудным делом с большой преданностью и умением. Когда она впоследствии вышла замуж за профессора Вилли Скляpека, ученого в лучшем смысле этого слова, и в декабре 1865 г. после очень трудных родов тяжко захворала, отец до самой ее кончины почти не отходил от ее постели.

Когда она скончалась, он воздержался от всяких внешних выражений печали и просил остальных своих детей следовать в данном случае его примеру. „Он требовал“,—пишет дочь его Иоганна, супруга химика и долголетнего ректора высшей технической школы в Брауншвейге, профессора Рихарда Майера, в своих воспоминаниях, изданных ею для внуков Арона Бернштейна,—он требовал, чтобы мы не плакали и не вздыхали; он собрал нас вокруг себя, прочел нам книгу Иова многострадального и выразил желание, чтобы мы оставались в повышенном настроении“.

Дети его вышли уже по большей части из юношеского возраста, поняли его и выполнили его желание. Но в широких кругах их знакомых поведение это произвело весьма тягостное впечатление. Я живо припоминаю, как соседи возмущались по тому поводу, что „у Бернштейнов“ не проявляли никаких внешних признаков печали и траура. Но я припоминаю также одно письмо Арона Бернштейна к его брату Якову, моему отцу, письмо, писанное в начале 1866 г., в котором говорится: „В этом году, как и в прошлом, проведу лето в Гарцбурге, но, конечно, уже беднее счастьем“. Эти подчеркнутые мною слова выражают больше всѐх внешних проявлений печали то, что чувствовал в то время Арон Бернштейн.

К слову сказать, упомянутая мною уже ранее в другом месте молитва, с которою я в глубоком внутреннем волнении обращался к богу: „Милосердный боже, если ты только существуешь, помоги моей двоюродной сестре“, молитва эта была вызвана именно упомянутой только что болезнью Фанни, и произнес я ее за два дня до рокового конца, когда возвращался на омнибусе домой, после того как мне родные рассказали о ее опасном положении.

Теперь вместе с надеждой на встречу с матушкой на том свете во мне потухали последние остатки веры в личного бога, в которого матушка продолжала верить до конца.

УПУЩЕННЫЕ ГОДЫ

Я приближаюсь в рассказе своем к той поре, когда дружба моя с Жаном Кабанис стала приходить к концу. Часть моей жизни, пока дружба держалась, я хотел сначала назвать разгульными годами, но мне кажется, что правильнее будет употребить выражение „упущенные годы“. То были прежде всего годы упущенного времени, а также и упущенных возможностей.

У меня, конечно, и в мыслях нет приписывать Жану главную вину в том, что так сложились обстоятельства, но, конечно, значительная часть вины и его, и оправдать его я все же не могу. Он к тому времени совершенно опустился. Что он делал

в дневные часы, пока я бывал занят в конторе, я не знаю; знаю только, что он не занимался ни науками, ни профессиональной работой; я уже описывал, как он меня прямо-таки подкарауливал, когда я возвращался вечером со службы домой. Но я должен прибавить, что ему никак не удалось бы оказать на меня вредное влияние, какое он имел, если бы этому не способствовала моя собственная слабость. Наиболее роковым из этой слабости было отсутствие у меня всяких серьезных стремлений, коренившееся в отсутствии веры в продолжительность предстоящей мне жизни. Я все еще продолжал считать себя много менее выносливым, нежели я был в действительности, и люди поддерживали во мне это убеждение. Как раз в то время господин Вейс однажды сказал мне: „Эдуард, вы вряд ли доживете до 20 лет", а друг мой Жан в другой раз рассказал мне, как один врач, которому он описал мое состояние, сказал ему, что приходится ожидать печального конца. В то время я довольно часто страдал катарром дыхательных путей, связанным с болями в груди, и у меня довольно часто шла кровь носом. Но я настолько привык к дурным предзнаменованиям и предсказаниям всякого рода, что они, правда, поддерживали во мне пессимистическое настроение относительно продолжительности предстоящей мне жизни, но в остальном не оказывали на меня сколько-нибудь заметного влияния. Я, правда, принял меры: по совету одной родственницы съедал по утрам тарелку горячей мучной похлебки, якобы помогавшей от катарра, и часто пил сырые яйца, которые покупал на рынке по дороге на службу и тут же уничтожал, и, несомненно, оба эти простые средства оказали на меня хорошее действие.

Полезными для моего здоровья были также прогулки за город, которые я летом 1868 г. правильно совершал по воскресеньям в обществе приятеля моего Жана. Родители его сняли на лето недалеко от станции Эркнер, по Силезской дороге, летнюю дачу, и туда мы обычно отправлялись по субботам вечером с тем, чтобы переночевать и возвратиться в город уже на следующий день к ночи.

Местность эта была в то время совершенно безлюдной. Кроме ресторана у шлюза, называемого по имени расположенной вблизи деревни Вольтерсдорф, там стояло всего два простых одноэтажных домика; в одном из них поселилась семья Кабанис, между тем как другой был занят посторонними дачниками. На западном берегу озера стояла одноэтажная хижина, в которой жил паромщик, перевозивший за 10 пфеннигов экскурсантов из Эркнера. Плата до смешного ничтожная, если принять во внимание, что расстояние было порядочное, так как невооруженным глазом можно было с другого берега различить сидевших в лодке только тогда, когда последняя добиралась до середины озера. И только начиная с середины

озера доносился к нам в лодку воинственный клич дикого индейца, испускаемый с берега Шарлем, младшим братом Жана, в знак приветствия, когда, пересевши в лодку из Эркнера, мы переправлялись по субботам вечером из Берлина на дачу. Конечно, мы немедленно отвечали такими же дикими воплями.

Так как домик, занятый семьей Кабанис, еле вмещал постели родителей, младших братьев и сестер Жана, а также и проживавшей в этой семье сестры госпожи Кабанис и прислуги, то Жан и я ночевали на сеновале при постоялом дворе, расположенном у шлюза; обстоятельство это не было нам неприятным, а напротив, даже увеличивало прелести дачной жизни. Нас снабжали достаточным количеством подушек и одеял, чтобы нам не приходилось лежать непосредственно на сене, кроме того, это давало нам возможность, если только помимо нас на сеновале ночевали и другие молодые люди, устраивать веселые драки. Мы по большей части засыпали довольно поздно, и так как сеновал с одной стороны был открытым, с утра на заре нас будили куры на шестках и птицы в расположенном поблизости лесу; мы вставали, как только солнце показывалось на горизонте, и досыпали недостающие часы в жаркое время дня, укладываясь где-либо в поле или на опушке леса. В течение дня мы обходили одну часть местности за другой, что с точки зрения эстетической особых наслаждений нам не давало, но зато пребывание на свежем воздухе, пропитанном лесными запахами, несомненно было для нас весьма полезно. Окружающая природа казалась нам по большей части мало привлекательной. Известный интерес представляли только так называемые журавлиные горы на берегу озера и их окрестности. Вскоре на них мы открыли в пустынной части леса небольшое озеро удивительной чистоты, которым мы немедленно воспользовались для купания. Однажды, когда мы расположились привалом на берегу его, мне в первый раз пришла мысль о спекуляции землей. Я сказал себе, что если местность эта когда-либо будет населена гуще, то часть леса, окружающая это прелестное маленькое озеро, несомненно станет подыматься в цене, так что имело смысл уже теперь приобрести местность эту в собственность. Правда, я при этом не помышлял о том, чтобы стать приобретателем. Не только потому, что у меня совершенно не было возможности достать необходимых денег, но и потому, что мне и во сне не снилось, что я сам могу дожить до такого далекого будущего. Однако, если я не был введен в заблуждение попавшейся мне недавно на глаза рекламой, тогдашние мои предположения оправдались вполне.

С семейством Кабанис я встречался в эти воскресные дни только за обедом, к которому они меня приглашали, и за

легкою закускою перед вечером, непосредственно перед тем, как мы с Жаном пускались в обратный путь в Берлин. Когда я в последний раз с ними прощался, произошло так, что мать семьи меня сердечно обняла и расцеловала. Зная, что я собственно ничем не мог заслужить этого, я был особенно растроган ее ласкою.

★

Осенью 1868 г. и в последующую затем зиму мы с Жаном, если только не отправлялись вечером в театр Калленбаха, охотно сражались в шахматы, по большей части в квартире его бабки, у которой он помещался в небольшой каморке, а иногда также в ресторане, в непосредственной близости от Галльских ворот. Так как ни один из нас обоих толком ничего не смыслил в теории шахматов, то игра наша, вероятно, особенно замысловатой не была, хотя вместе с тем она не была игрою начинающих. Как бы там ни было, но у нас нашлись зрители, интересующиеся нашей игрой. Когда я однажды вечером, весною 1869 г., сидел в одиночестве в этом ресторане, ко мне подошел высокий стройный господин, отрекомендовался лейтенантом таким-то (фамилию его я не разобрал и не справлялся о ней) и спросил меня, расположен ли я сыграть с ним в шахматы. По его словам, он не раз наблюдал мою игру и сам великий охотник до шахмат. Я ответил ему, что если он наблюдал за моею игрою, то должен был заметить, насколько я в ней мало искусен. Если же это обстоятельство его не отпугивает, то я охотно готов с ним сыграть. После этого мы действительно в течение ряда вечеров сражались с ним в шахматы. Вначале лейтенант, значительно превосходивший меня в игре, побеждал меня раз за разом, но мало по малу игра с превосходным противником оказала на меня свое действие. Противнику моему стало все труднее и труднее меня побеждать, таким образом игра наша становилась с каждым днем все интереснее, и в конце концов мне тоже иногда удавалось выиграть у него партию.

В апреле 1869 г., однако, встречи наши с ним прекратились. У нас с ним не вышло никакого столкновения или даже недоразумения. Партнер мой выказывал себя все время человеком приятным в обращении, в разговоре он проявлял общую культурность, и я испытывал по отношению к нему благодарность за успехи, которые он помог мне сделать в игре в шахматы. Но семья моя переехала с улицы Иоганнитов на улицу Гнейзенау, так что путь мой со службы домой проходил по другим улицам; кроме того, мною овладели иные склонности, занявшие место шахматов.

Тем временем дружба моя с Жаном близилась к концу. Различного рода обстоятельства убеждали меня все сильнее

и сильнее в том, что Жана привязывали ко мне исключительно интересы грубейшего материального свойства, и что настоящего дружеского чувства по отношению ко мне он не испытывал. Одно из такого рода происшествий состояло в следующем.

К нашему кружку примкнул молодой человек по имени Оскар Вагнер, обладавший способностью к рисованию; известный египтолог, профессор Иоганн Дюмихен, пригласил его помогать ему в работе, срисовывая для него иероглифы. Вагнера привлекала ко мне моя любовь к драматическому искусству, к служителям которого он причислял сам себя, и как мне кажется, не без основания, принимая во внимание его драматическое дарование. Он обладал очень звучным голосом, которым управлял с большим мастерством, так что производил большое впечатление, читая вслух произведения вроде гётевского Zauberlehrling. Кроме того, мне нравилась в нем его, хотя и наивная, но чрезвычайно искренняя способность воодушевляться, которой он выгодно отличался от Жана, за что Жан его частенько и поддразнивал.

Этого-то Оскара Вагнера Жан прислал ко мне однажды в служебные часы со странной просьбой передать ему через посланца один талер, на каковую сумму они втроем с какой-то кельнершей напировали в ресторане на Ангальтской улице и, не имея возможности заплатить по счету, принуждены были оставаться в качестве заложников. В доказательство того, что Оскара прислал не кто иной, а именно Жан, мне вручена была его соломенная шляпа.

Смутила меня не величина требуемой суммы, значительно меньшая, нежели займы, которыми Жан обычно облегчал мой кошелек; я довольно резко сказал Вагнеру, что просьбам такого рода, которые он почему-то берется мне передать, я не потатчик. Если Жан попадает в такого рода положение, то пусть он сам из него и выпутывается. От меня он на такого рода дела не получит и пфеннига. Вся история глубоко возмутила меня с нравственной точки зрения, и Оскару это было настолько понятно, что он даже не пытался на меня воздействовать. Он ушел совершенно уничтоженный, я же стал сам себя упрекать за то, что, очевидно, заставил беднягу расплачиваться за похождения Жана. Так оно и вышло на самом деле.

Когда я вечером возвратился со службы домой, ко мне в довольно поздний час явился Оскар и в настоящем отчаянии умолял меня помочь ему выпутаться из беды,—а что беда пришла, видно было хотя бы по одному тому, что бедный парень стоял передо мной полураздетым. Простодушный малый, выйдя из моей конторы, отправился в ресторан, где должен был его поджидать Жан, а тот тем временем успел потихоньку

улизнуть, унеся с собой в кармане фуражку Оскара. Владелец ресторана потребовал от Оскара уплату за все, что злосчастные посетители спрашивали из напитков и кушаний. Когда оказалось, что Оскару уплатить нечем, он отобрал у него пиджак и другие части одежды, вследствие чего Оскару предстояла опасность явиться полураздетым перед грозные очи отца, а затем быть жестоко избитым и, пожалуй, вышвырнутым и дома. Чтобы избавить его от этой перспективы, я дал ему талер, в котором отказал Жану. Сделать это я мог с тем более легкою душой, что на обратном пути из конторы встретил Жана, подкараулившего меня, и без стеснения высказал ему свое негодование по поводу его поведения; в дальнейшем разговоре я недвусмысленно изложил ему все, что думал по поводу его личности и вообще наших с ним отношений. Он делал слабые попытки мне возражать, но видя, что резоны его на меня не действуют, воскликнул: „В таком случае нам лучше всего разойтись!". Так как мне не хотелось расходиться с ним враждебно, то я сказал: „Пожалуй, на время это хорошо будет". На это он не нашел мне что возразить, и мы в тот вечер расстались без горечи, но и без слов сожаления.

На этом наша дружба и закончилась. Впоследствии мы иногда и встречались, спокойно друг с другом беседовали, но наши дружеские отношения не возобновлялись даже и временно. Наоборот, при его рассказах мне по большей части делалось не по себе, настолько отталкивающим казалось мне проявлявшееся в его словах мировоззрение. Он был во всех отношениях скептиком, при этом глубоко разочарованным. Поэтому к социалистическому движению, к которому я тем временем успел примкнуть, он не выказывал ни малейшего интереса.

ТЕАТР И ТЕАТРАЛЬНЫЙ МИР

Разрыв отношений с Жаном Кабанис не сразу повлиял на меня в том направлении, чтобы я стал заниматься чем-либо серьезным. Посещения ресторанов и шахматная игра по вечерам сменились увлечением театром и в течение некоторого времени общением с театральным людом.

Уже из предыдущего изложения видно, что у меня была значительная склонность к театру. Обычно черту эту считают отличительным свойством евреев. В эпоху яркого расцвета современного антисемитизма, т.-е. в начале восьмидесятых годов прошлого столетия, утверждение это часто проглядывало в антисемитской прессе. Один из выдающихся актеров одной из лучших сцен в Берлине подтвердил этот взгляд, заявивши, „Что же нам делать, если нам отказаться от евреев? Тогда придется прямо закрывать лавочку".

У меня, во всяком случае, склонность эта проявлялась сызмальства. Еще задолго до того, как мне пришлось присутствовать при каком-либо театральном представлении, я 6—7-летним мальчуганом играл в „театр", или в то, что разумел под театром, перед сверстниками, жившими в нашем доме. Представления эти я стал давать еще чаще после того, как побывал у Майзеля в настоящем театре. Хотя у меня бывали периоды перерывов, но все же через некоторое время непременно снова проявлялось стремление культивировать театральное искусство, если не игрой, то хотя бы пером. Когда же мне в конторе стали платить жалование,—на третий год моей службы оно было уже в два раза больше первоначального,— сравнительно много тратил на театр. Вначале я долго посещал дешевый театр Калленбаха; когда же мое содержание было повышено, я стал ходить в королевский театр, в котором подвизались некоторые первоклассные артисты, и где, кроме драматических произведений немецких классиков, ставить которые почиталось долгом чести, время от времени появлялись и некоторые произведения, в политическом отношении довольно интересные. В королевском театре я обычно ходил на галерку, но иногда бывало так, что мне посчастливится попасть и на хорошее место. Так например, расположенный ко мне Зигмунд Гутентаг подарил мне билет в партер, когда я должен был в первый раз смотреть Гетевского „Фауста"; представление это давалось в оперном театре, где места были значительно дороже, нежели в драматическом. Я получил такое наслаждение, что совершенно ошалел от восторга, и по дороге домой от избытка чувств несколько раз останавливался на улице, глубоко вздыхая, и от радости охотно обнял бы первого попавшегося прохожего. Не было ни одного поэтического произведения, которое я ценил бы выше „Фауста".

Тем не менее однако, не прошло и нескольких месяцев, как драматическое произведение, стоящее неизмеримо ниже шедевра Гете, а именно „Нарцисс" Брахфогеля, вызвало во мне восторг не меньший. Я был еще слепым по отношению к недостаткам этой пьесы, чересчур рассчитанной на сценический эффект, и уже при чтении его совершенно ошалел от восторга. Я видел только чрезвычайно захватывающую драматическую идею и потрясающую характеристику главных действующих лиц. Помимо этого, Нарцисса играл Людвиг Дессуар, несомненно наиболее подходящий артист, какого только Брахфогель мог найти для этой своеобразной роли; с другой стороны, сам Дессуар ни с одной из своих ролей не сроднился так, как с этой. Так как, кроме того, Дессуар в тот вечер впервые выступал после длительной болезни, то зрительный зал захвачен был таким настроением, какого мне в другой раз переживать не приходилось. Казалось, точно все

присутствующие преисполнены одним и тем же чувством,—не сочувствием, а прямо-таки любовью к человеку, который вот стоит там на сцене и уже заметно представляет собой почти развалину. Из его уст не вырвалось ни одного слова, он не делал ни одного движения головой или руками, не переводил дыхания без того, чтобы действия его не были подхвачены присутствующими именно так, в таком значении, какое желал им придать артист; между всеми зрителями чувствовалась связь, как между членами одной семьи.

Все ли так чувствовали? Пожалуй, сказать „все" будет преувеличением. Быть может, моя фантазия чрезвычайно обобщала впечатления, обуревавшие меня, но лично мною чарующее впечатление овладело вполне и не покидало даже на улице.

Один только еще раз я испытал столь же сильное чарующее впечатление от театрального представления, а именно, когда я добрый десяток лет спустя во второй раз послушал „Мейстерзингеров" Вагнера. Как я ни был в то время предубежден против Вагнера, как человека, но я с величайшим восторгом развязал бы ему ремешки у башмаков или оказал бы ему еще более низменную услугу, до такой степени воодушевило меня глубокое мировоззрение, выразившееся в этой величайшей из немецких комедий, и гениальная гармоничность музыки. Когда я в первый раз присутствовал на представлении „Мейстерзингеров" вместе с другом моим Вильгельмом Бадингом, мы оба сошлись на том, что это нечто весьма крупное, но для нас пока непонятное. Правда, мы тогда сидели на галерке, и у нас не было под руками либретто.

На этот же раз я до известной степени постиг шедевр в общих его линиях, лучше усвоил многие подробности, как музыкальные, так и поэтические, и каждый акт, каждая сцена захватывали меня все глубже и глубже, так что к концу я был точно зачарован. Я прямо таки убивался от того, что не мог пасть на колени перед самим Вагнером, из сознания моего совершенно исчезли критические замечания одного моего приятеля-политика, которого я взял с собой в оперу,—замечания, возмущавшие меня в течение первых актов.—Я чувствовал лишь дуновение гения и был совершенно этим покорен.

Однако, вернемся к 1869 г. В то время в Берлине прекратилась концессионная сдача театров в аренду, и немедленным результатом нового положения было чрезвычайное соревнование и театральное грюндерство. Всюду открывались театры. Театры последнего разряда, ставившие до тех пор только так называемые „народные пьесы" самого грубого свойства, сразу перешли к классическому репертуару. Увеселительные места низшего разбора внезапно превратились в театры возвышенного стиля. Само собой разумеется, в большинстве случаев

сил для осуществления намеченных программ у них нехватало, так что между обещаниями и выполнением проявлялись резкие противоречия. Юмористические листки, да и не только одни юмористические, приводили целый ряд комических сообщений о такого рода происшествиях, действительно имевших место на почве бешеного театрального грюндерства или же, впрочем, и вымышленных. Так например, в одном юмористическом журнале напечатано было, что на такой-то улице мясник такой-то устроил в помещении позади лавки театр и якобы вывесил в один прекрасный день следующее объявление:

Нынче вечером

СВЕЖАЯ КРОВЯНАЯ И ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА,

а также

„МЕССИНСКАЯ НЕВЕСТА"

драма Шиллера.

Начало в 7 часов

Вечером белый фартук, которым был окутан стул перед лавкою, вдруг оказался замененным красным фартуком, и прохожие не знали, что и думать: вышла ли колбаса или „Мессинская Невеста".

Известный старый остряк Глазбреннер рассказал в юмористическом отделе, который он вел в одной из понедельничных газет, что при представлении „Дон-Карлоса" в одном из недавно возникших театров на новостроившейся тогда Лютцовской улице, на восклицание принцессы Эболи (2 акт, явление 8):

„Карл, вы не так говорите",

Дон-Карлос ответил ей простодушно:

„Принцесса, и вы тоже".

В юмористической пародии на поставленную тогда в оперном театре новинку, оперу „Миньон" Тома, „Кладдерадач" заставляет предводителя цыган при первом появлении на сцене заявить публике, что он, как и его цыгане одеты очень уж опрятно; если же публика желает увидеть цыган „в подлинном засаленном блеске их одежды", то она должна для этого отправиться в театр Белль-Альянс у Галльских ворот смотреть „Прециозу".

Владелец увеселительного заведения, расположенного поблизости от Галльских ворот, окрестил его Белль-Альянским театром. В первоначальном своем виде заведение это относилось к низшему разряду и предназначалось преимущественно для солдат расквартированных поблизости драгунских казарм

и для горничных. Уровень изображавшихся на крохотной сцене комических песенок и стишков трудно изобразить более красочно, чем это выражено циничными юмористическими словами, с какими владелец заведения, некий Вольф, обратился к недавно ангажированному комику, передавая ему подписанный контракт: „Вот, а теперь будьте как хотите грубы, показывайте публике хоть голый зад, но только без двусмысленностей“. После преобразования в театре дело пошло не на много лучше, так что, когда я однажды случайно забрел в театр, я думал, что этим посещением я покончил с ним раз навсегда. Но вышло иначе. Вольф, в молодые годы сам выступавший на сцене, стал мало по малу привлекать все лучшие и лучшие артистические силы и более тщательно выбирать пьесы для постановки, так что с течением времени театр его стал привлекать публику, не лишенную вкуса, и сумел заставить ее отдать ему предпочтение перед большинством выраставших тогда, как грибы, театральных предприятий. При низких входных ценах нельзя было требовать богатых постановок, но например, при постановке мелодрамы „Прециоза“ заглавную роль играла ученица знаменитой трагической актрисы Шарлотты Вольтер, а Алонзо играл актер, обладавший великолепной внешней наружностью и очень приятным звучным голосом, игра которого свидетельствовала о хорошей школе и большом понимании драматического искусства.

Я стал опять бывать в этом театре, расположенном в нескольких минутах ходьбы от моего дома, и даже стал там завсегдатаем,— правда, не столько из-за ставящихся пьес, зачастую повторявшихся, а из-за того, что меня привлекали некоторые личности. Одной из них была молоденькая танцовщица, прелести которой оказали на меня сильное впечатление. То была юная девушка, приблизительно одних лет со мной, исполнявшая вместе с несколько старшим ее братом танец, называвшийся па-де-дё (pas de deux),—в те времена балетный тон задавал Париж. Брат и сестра выступали под фамилией „Спатони“, но в действительности они назывались Ринч и были родом из Берлина, где отец их занимался извозным промыслом. Я не знаю, был ли он в разводе с женою, полагаю, что да, так как мать постоянно бывала у дочери, буквально глаз с нее не спускала. Не могу сказать, чтобы мне это было очень приятно, хотя, впрочем, и не особенно меня огорчало; у меня не было никаких ни серьезных, ни несерьезных намерений относительно этой девушки; я могу даже сказать, что, так как я считал эту девушку вполне „приличной“, то о каких-либо несерьезных намерениях и помышлять не смел. Мне просто было приятно каким-нибудь образом выказывать ей мое поклонение, и я считал себя достаточно вознагражденным, если по вечерам после представления имел возможность

беседовать с нею, с ее матерью и братом за кружкою пива в ресторане при театре, оплатить там за них крошечный счет, а затем провожать их всех до дома, где они жили.

Поклонение мое выражалось некоторое время и в том, что я иногда пытался кинуть букет на сцену к ногам Альмы после исполненного ею с братом танца. Конечно, то не были громадные колесообразные букеты, а просто небольшие, но правда приобретенные в хороших магазинах букеты, никогда не обходившиеся мне дороже, чем в полталера, однако со вкусом подобранные.

Но так как я был весьма неловок в искусстве метания, то лишь в редких случаях мне удавалось кинуть букет на сцену так, как мне это хотелось. Бывало и так, что букет попадал в суфлерскую будку, в другой раз он полетел прямо в голову капельмейстера и пр. и т. п., так что я постепенно перешел на другого рода знак внимания: придя в театр, я посылал через кельнера театрального ресторана 5 чашек шоколада в уборную танцовщиц,—у Альмы были еще 4 коллеги,—и это подношение всегда принималось с удовольствием. Все это стало известно, мало по малу в театре со мною освоились настолько, что все сотрудники стали на меня смотреть почти как на человека их семьи и соответственным образом обращаться со мной. Когда я по вечерам приходил с опозданием после начала спектакля, меня пропускали без билета, и контроль предоставлял мне усесться на любом месте. Актеры смотрели на отношения, существовавшие между Альмой Спатони-Ринч и мною, с той снисходительностью, какую выказывают по отношению к детям, играющим в жениха и невесту,—впрочем, наши отношения на это очень смахивали. Обоим нам еще не минуло по 20 лет. Кроме того, мы оба были чрезвычайно маленького роста.

То обстоятельство, что я мог выбрать себе любое место в театре, дало мне возможность однажды добиться такого эффекта в бросании букета, какого я и в мыслях не имел, эффекта даже вообще довольно необычного в театре.

Накануне вечером у нас с Альмой за кружкой пива вышел оживленный спор, что бывало у нас нередко, и касался, как обычно, какой-то новой театральной пьесы. Точки зрения на этот предмет были настолько различны у нас, что мы каждую минуту сталкивались. На этот раз спор особенно обострился, и я высказал свой взгляд со страстностью, вполне понятною у юноши моего тогдашнего возраста, но, пожалуй, не совсем уместною со стороны поклонника по отношению к предмету поклонения. Мы продолжали спорить по дороге вплоть до самого дома, и хотя спор на личности и не переходил, тем не менее простились мы довольно холодно.

Это меня довольно сильно удручало, пока я шел домой один. Я стал понимать, что зашел слишком далеко, и решил на следующий день по возможности загладить свою ошибку,—только не брать назад и не изменять высказанного мною суждения, этого не позволяла моя торжественная серьезность, с какой я в те времена относился к подобного рода вещам. С таким же успехом мне можно было бы предложить признать, что сумма углов треугольника равняется $2^1/_2$ прямым. Но был и другой, не эвклидовский, способ умилостивить Альму.

С этой целью я забежал вечером к цветочнице в одном из домов на Фридрихштрассе, у которой я был постоянным покупателем, приобрел букет, причем просил ее составить его как можно изящнее, затем купил еще большую белую, как алебастр, камелию, которая должна была составить центр букета и действительно придала ему особую красоту.

Чтобы намерения мои не сразу бросались в глаза, я попросил завернуть букет в папиросную бумагу и помчался в театр, держа букет за спиною. Вплоть до номера, после которого я хотел сделать подношение, я старался держаться подальше от всех знакомых, и; наконец, когда настал желанный момент, я с разрешения капельдинера отправился в боковую ложу, находящуюся у самой сцены, причем стоял так, чтобы меня не было видно.

Интересовавший меня номер был новинкой. Балетмейстер этой маленькой группы аранжировал поэму в танцах („Ballabile“), исполнявшуюся под прекрасную мелодию вальса из „Фауста“ Гуно,—в Германии оперу эту весьма разумно называют „Маргаритой“,—причем участвовал в ней только женский персонал. Начиналась она фигурными танцами, исполнявшимися коллегами Альмы, затем они становились попарно, изображая любящие четы, по бокам сцены, а Альма выскакивала из кустов на заднем плане, легко, как сильфида, носилась от одной пары к другой, а затем на авансцене выполняла чрезвычайно изящные эволюции, вызвавшие бурный восторг публики.

Этот момент мне и показался подходящим для того, чтобы бросить букет. Я выступил вперед в своей ложе, сорвал окутывающую цветы бумагу и изо всех сил бросил букет, стараясь, чтобы он попал к ногам возлюбленной. Счастье мне улыбнулось. Букет упал перед Альмой в тот момент, когда она склонилась перед публикой, так что она могла тем же движением поднять цветы и мимически выразить свою благодарность. Публика стала аплодировать еще громче. „Некто“ был особенно счастлив и вновь скрылся в заднюю часть ложи.

Когда после представления Альма, держа букет в руках, вошла в сопровождении матери и брата в ресторан, где я ее поджидал, она выразила мне благодарность и рассказала, что все ее коллеги ее поздравляли. Я же, со своей стороны, стал

высказывать ей мое восхищение ее прекрасными танцами. Действительно, по общему мнению, она была лучшим украшением танцовальной поэмы. Вечер прошел в полной гармонии при упоении счастьем, преисполнившим наши сердца.

Но то был один из последних вечеров, проведенных мною в обществе семьи Спатони-Ринч. У меня появился соперник, располагавший значительно большими денежными средствами, нежели я, и действовавший с гораздо большим апломбом. Обстоятельство это портило мне удовольствие от встреч, и я старался их реже искать и в конце концов, хотя у нас не дошло до какого-либо резкого столкновения, совсем перестал приходить; вместе с тем перестал я на некоторое время посещать и театр. Когда я однажды снова туда пришел, то узнал, что брат и сестра Спатони не возобновили контракта с Белль-Альянским театром, а приняли ангажемент в провинцию. Куда,—никто не знал, а впрочем, я особенно настойчиво и не расспрашивал. Мне очень нравилась Альма, нравилась настолько, что я заставлял моих близких,—сестер моих и моих товарищей,—вместе со мной восхищаться ею. Но чувства, которое можно было бы назвать любовью, я по отношению к ней не испытывал и никогда не помышлял ни о любовной связи, ни о каких-либо длительных с ней отношениях. Она была по-своему славною девушкою, честно трудилась,—профессия ее требовала ежедневных упражнений,—была покорной дочерью и доброй сестрой. Но горизонт ее был столь узок, мысли ее столь односторонни, что более тесная связь между нами по необходимости закончилась бы печально. Поэтому и разлука с ней не особенно меня печалила, хотя и впоследствии я охотно об этой девушке вспоминал. Выражаясь словами Гейне, она олицетворяла для меня часть очаровательной поры юности.

Кажется, зимою 1877—78 г. в Луизинском театре Берлина об‘явлено было о гастролях брата и сестры Спатони. Поэтому приятель мой Карл Кеппен и я отправились в этот пользующийся не особенной репутацией театр, и там мне удалось разыскать брата Спатони. Мы провели несколько часов после представления с ним, с Альмой и с их матерью. Они рассказали мне кое-что о пережитом ими, и хотя они и не особенно жаловались, но все же рассказ их подтвердил вынесенное мною уже впечатление о том, что для большинства театральных людей существование связано с такой неуверенностью в завтрашнем дне, с такими лишениями, что требуется значительная доля легкомыслия, дабы с ним примириться. Альма, впрочем, рассказала, что ей основательно надоело быть танцовщицей и что она решила стать актрисой. Я не знаю, удалось ли ей это сделать, и не могу судить о том, имела ли она к тому больше дарования, нежели к танцам. В качестве

балерины у нее не было недостатка ни в способностях, ни в прилежании. Еще до того, как она вступила в Белль-Альянский театр в Берлине, она училась в Ганновере у известной балетмейстерши Гефлих,—если я не ошибаюсь, матери известной актрисы,—и обнаруживала явные признаки таланта и хорошей школы. Если, несмотря на это, ей не удавалось получить сколько-нибудь выгодного ангажемента, то какая же судьба ожидала большую часть ее коллег, не обладавших ее данными?

КЛАРА ГРАБОВСКАЯ И ЕЕ СЕМЬЯ

К числу членов Белль-Альянского театра, с которыми я в то время свел знакомство, относился также и музыкант театрального оркестра, молодой серьезный скрипач, с которым я охотно беседовал по поводу музыки. Одно замечание, сделанное им, когда я однажды опять пришел в театр, привело меня в новый полон.

Каким-то образом мы разговорились о женском персонале театра, причем к их нравственности он относился чрезвычайно скептически. „Все они никуда не годятся,—сказал он,—все доступны. У нас только одна порядочная девушка среди актрис и есть—это Грабовская“.

Я уже давно видел на афишах фамилию этой актрисы, но не обращал на нее внимания. Замечание несомненно порядочного человека побудило меня с ней познакомиться. Поскольку можно было судить, сидя в театральном зале, у нее была маленькая фигурка и красивые большие глаза; на сцене она, повидимому, не чувствовала себя вполне свободно. Однажды вечером после конца представления я стал ее поджидать на улице с тем, чтобы, если возможно, предложить ей проводить ее до дому. Однако, это оказалось не так-то просто, так как она шла в сопровождении девочки лет двенадцати, у которой в руках был довольно большой пакет. Рискнуть ли с ней заговорить? Некоторое время я в нерешительности шел за ними, не рискуя подойти из опасения наткнуться на резкий отказ. С другой стороны, мне не хотелось отступать, не сделавши никакой попытки. В конце улицы Белль-Альянс, на углу, где она вливается в огромную площадь перед Галльскими воротами, на которой подойти к девушкам было бы очень затруднительно, я принял героическое решение, которого сам от себя не ожидал, подошел к ним, снял шляпу и обратился к Грабовской: „Разрешите, сударыня, обратиться к вам с просьбой. Девочке, кажется, трудно справиться с большим пакетом. Позвольте мне его понести“. Конечно, в ответ мне было сказано, что я ошибаюсь, что пакет совсем легкий, иначе Грабовская сама его бы несла. Однако, труден был лишь первый шаг, дух мой

возвышался до невероятных пределов. Не долго думая, я осторожно взял из рук девочки пакет и сказал ее спутнице: „Видите, сударыня, я уже позволил себе взять пакет. Окажите милость и разрешите донести его до вашего дома. Зовут меня так то и так то".

Что было дальше делать молодой девушке? Но оказалось из разговора, что имя мое ей было уже известно, она слыхала о том, что я был обожателем Альмы Спатони, и что обожание это было вполне невинное. Она повторила, что мне совершенно незачем утруждать себя, но не выказывала никаких признаков неудовольствия, и вскоре мы вступили в столь оживленную дружественную беседу, точно были с нею по-настоящему знакомы. Между прочим, я узнал все существенное относительно происхождения и истории Клары Грабовской, которая оказалась родом из Гросс-Глогау, где ее отец стоял во главе свободной религиозной общины. Будучи однажды в гостях у родных в Бреславле, она посещала отлично поставленный там театр. Под влиянием виденного и слышанного она почувствовала непреодолимое влечение к сцене, стала брать уроки у одного из лучших артистов этого театра Александра Либе, а затем поступила на службу в один из лучших передвижных театров,—в труппу директора Вейе; во время поездок ее сопровождала мать, а потом, когда той пришлось вернуться домой, мать заменила ее старшая сестра Магда, с которой они вдвоем и жили на Александрийской улице в семье учителя, отца маленькой спутницы артистки.

Все это было рассказано настолько просто, без всяких претензий, что я вполне понял, почему юный музыкант столь одобрительно отзывался об этой актрисе. В полном восторге я простился с нею у ворот ее дома и на следующий день еле мог дождаться вечера, чтобы отправиться в Белль - Альянский театр, завсегдатаем которого мне предстояло вновь сделаться. С сестрами Грабовскими у меня установились дружеские отношения, мало по малу распространившиеся и на остальных членов семьи, с которой я постепенно познакомился.

Подружился я, конечно, прежде всего с Магдой, особой остроумной и способной, но предъявлявшей очень скромные требования к жизни. Она была нехороша собой и знала это, причем сама о себе говорила, будто у нее „плюхопросительная физиономия", т.-е. часто принимающая вызывающее выражение. Рассказала мне она об этом однажды, когда действительно на улице какой-то буян задел ее по лицу; и в доказательство привела факт, что однажды отец ее, когда она читала вслух, дал ей пощечину, мотивируя это тем, что у нее было удивительно злобное выражение лица. „А между тем,—закончила она,—я совершенно не испытывала ни малейшей злобы, наоборот, была глубоко растрогана рассказом, который я

читала, но моя плюхообразная физиономия выражала обратное“.

Возможно, что в разрезе глаз ее было нечто, придававшее ей выражение высокомерия. Когда она спокойно разговаривала, то лицо ее было, правда, некрасивое, но нисколько не неприятное, и я охотно с ней беседовал. Обе сестры больше ценили известный умственный уровень, нежели прочие достоинства. Так например, они холодно отстранили попытки к знакомству одного состоятельного молодого человека, заинтересовавшегося Кларой и предлагавшего ей и Магде прогулки в элегантном фаэтоне; они объяснили мне свой отказ тем, что у молодого человека не было никаких духовных запросов. При этом они обе нисколько не склонны были быть педантками, а особенно Магда была подчас весьма расположена к веселым шалостям. Она была более непосредственной, чем сестра, и если бы Клара нуждалась в опекунше, то Магда меньше всего могла бы исполнять роль таковой. Но для Клары Грабовской в этом надобности не существовало. Вообще, насколько я мог заметить, вращаясь в актерской среде, женский персонал, действительно интересующийся своим делом, гораздо меньше расположен к вольностям, нежели это обычно предполагают.

Здесь вспоминается мне шутливое стихотворение Магды Грабовской. Однажды сестра ее совершенно безвинно навлекла на себя ревность одной из товарок по сцене, находившейся в близких отношениях с одним из актеров. Вышла безобразная сцена, и в результате ее произведено было расследование, закончившееся выяснением полной невиновности заподозренной Клары. Случаем этим воспользовалась Магда и сочинила по этому поводу в топорных стихах повестушку, обнаруживавшую недурной юмор, в которой Клара выставлялась в виде преступницы. Приведу некоторые запомнившиеся мне стихи.

Стихотворение начинается так:

Уж бились об заклад нередко,
Что Клара злостная кокетка,
И даже слышались сомненья
В законности ее рожденья.
Был постоянно чичисбей,
А то и не один, при ней.

Далее описывается, как она соблазнила коллегу X. уединиться с нею во время репетиции новой пьесы в полутемную ложу. Перед этим она лукаво набрасывает на себя

Капот, что был когда-то бел,
А нынче сильно посерел,
Хотя и был совсем не старый,
Так красил всех характер Клары!

В ложе:

Она болтает без умолку,
Но это вовсе не без толку:
Рассеянной ей надо быть,
Чтоб круглой дурой не прослыть.

Происходит катастрофа. Во время разговора их неожиданно накрывают. На Клару падает тяжелое обвинение, но режиссер, выслушав свидетелей, объявляет ее оправданной, и стихотворение заканчивается так:

Мы лишний раз, друзья, отметили:
Порок сильнее добродетели.

Спустя некоторое время после моего знакомства с сестрами в Берлин приехал их отец, нашедший там подходящее временное занятие, и поселился вместе с Кларой, а Магда поехала домой. Мы с ней стали вести корреспонденцию, причем переписывались в шуточных стихах и давали волю своей фантазии. Затем корреспонденция эта затихла, но когда однажды Магда была проездом в Берлине, она показала мне образцы своих стихов в более серьезном жанре, свидетельствовавшие о сильных поэтических переживаниях.

В течение всего этого времени дружеские отношения мои с Кларой Грабовской продолжались в том же виде. Редко выпадал вечер, когда бы я ни поджидал Клару у театра, если я в тот день не был на представлении. Если же я проводил вечер в театре, то тем самым я уже был на своем посту, чтобы проводить ее до дому. Я не всегда был ее единственным провожатым. Часто к нам присоединялись ее хозяева или кто-либо из ее подруг и товарок. Иногда мы в таких случаях заходили в какое-либо кафе и за скромной закуской или выпивкою вели оживленную беседу. Бывали, впрочем, и такие вечера, когда мы с Кларой вдвоем совершали путь. Однако, как мы ни сблизились за это время, отношения наши никогда не переходили за пределы невинной дружбы. Я большего и не требовал и весьма сомневаюсь в том, чтобы Клара со своей стороны согласилась изменить характер наших отношений. Когда однажды я предложил посетить вместе с нею один из лучших театров Берлина и просил на то разрешения ее отца, он ответил мне, что без малейшего опасения доверяет свою дочь племяннику Арона Бернштейна. Однако, как я ни уважал своего дядюшку, мысль о нем весьма мало влияла на меня в данном случае.

Тем временем Клара Грабовская не раз имела случай подвизаться в ролях того амплуа, для которого она была приглашена, и имела большой успех в качестве инженю-комик. Так например, она очень понравилась публике в роли Франциски

в „Минне фон Барнгельм“ Лессинга, в роли Ганны в „Деборе“ Мозенталя, а также в роли задорной дочки французского помещика в остроумной пьесе Швейцера „Три государственных преступника“. На судьбу ее решающее влияние имел успех в веселой роли в пьесе Бирх-Пфейфера „Мать и сын“. Успех ее был такой большой, так много способствовал успеху самой пьесы, что супруга директора Вольфа преподнесла ей в подарок белое платье из особо ценной материи. Кроме того, ею сильно заинтересовалась видевшая ее в этой роли Лина Дункер, жена издателя Франца Дункера и большая приятельница Лассаля. Благодаря своим связям в литературных и художественных кругах, она добилась того, что Клара получила приглашение на гастроли в городской театр в Прагу. После этих гастролей Клара получила ангажемент в этом театре, пользовавшемся тогда большой славой. Там она имела такой успех, что в один прекрасный день к ней явился под видом артельщика из кассы принц Rohan-Guéminée, потомок известного бретонского рода, желавший во что бы то ни стало с ней познакомиться. Она стала его приятельницей и даже больше, как говорили. В 1877 г. принц обратился к императору Вильгельму I и добился принятия ее на королевскую сцену в Берлине. Но там она натолкнулась на сильную враждебность со стороны как конкуренток, так и печати, и почти никогда не выступала в ролях подходящего ей амплуа. Зато она несколько раз выступала в таковых на гастролях в одном из лучших театров на периферии Берлина, в „Национальном театре“. Там я видел ее раза два, и у меня создалось впечатление, что она сделала большие успехи в своем искусстве. Однако, знакомства с ней я так и не возобновил. Тем временем меня всецело поглотила политическая борьба.

НАЧАЛО ДРУЖБЫ С ВИЛЬГЕЛЬМОМ БАДИНГОМ

Близость моя с Жаном Кабанис на некоторое время вытеснила на задний план дружбу с Карлом Кеппен, хотя последняя не прерывалась никогда. Существованию ее благоприятствовало не только то обстоятельство, что Карл бывал в моей семье и у общих знакомых, но также и то, что некоторые его качества постоянно меня к нему влекли, в том числе—особенно сильно—одно качество, или вернее отсутствие одной черты. Дело в том, что если ему недоставало талантливости Жана, зато не было у него также и присущего Жану цинизма. Карл обладал в высшей степени солидным характером.

В отличие от Жана он был вполне „маменькиным сынком“. Понимать это, впрочем, отнюдь не следует так, что якобы он был избалованным маменькиным сынком. Правда,

когда ему еще было лет 5—6 и мы, бывало, с ним заиграемся во дворе до наступления темноты, он нередко взывал наверх, где мать его занимала скромную квартирку: „Мамочка! Мамочка!“, и когда мамочка высовывала голову в окошко и отвечала: „Карлуша!“, он просительно восклицал: „Посвети мне, мамочка!“, после чего мать обычно спускалась за ним вниз. Но в общем мать его, бывшая родом из небольшого мекленбургского городка, очень озабочена была тем, чтобы сын ее рос парнем здоровым и крепким, и для достижения этой цели даже подвергла его довольно тяжкой муштровке. Так например, обедать он был обязан стоя, так как, по мнению его матери, эта система должна была способствовать укреплению его ножных мышц. Были у нее и другие фантазии в этом же роде.

На подрастающего мальчика известное влияние оказывали также взрослые дети одного довольно крупного прусского чиновника—директора департамента военного министерства, в доме которого фрау Кеппен служила до своего замужества. Сын этого чиновника студент-математик следил за школьными занятиями Карла, а дочери, две довольно хорошо образованные молодые девушки, оказывали на него благотворное влияние в других областях умственной жизни. Конечно, политические вопросы не играли никакой роли.

При всем том Карл Кеппен не мог заполнить провала, оставленного во мне разрывом дружбы с Жаном Кабанис, на это ему не хватало даже и времени. Его отдали учиться прикладному искусству у резчика и гравера, и ему предстояло пройти в течение 4 лет довольно сложный курс учения. В то время охраны труда учеников не существовало, и рабочий день длился очень долго. Кроме того, наши общие подготовки были чересчур различны для того, чтобы при всей моей симпатии, которую я испытывал по отношению к Карлу, общение с ним могло давать мне полное удовлетворение. К счастью, судьба свела меня в описываемое время со сверстником, дававшим мне то, к чему я стремился.

Произошло это так. В течение первого года после кончины матушки дом наш в сущности оставался без настоящей хозяйки. У нас, правда, была очень дельная домашняя работница; но мысли ее были заняты слишком многими посторонними предметами, чтобы посвящать хозяйству столько времени и забот, сколько требовалось по составу нашей семьи. Мари,— так кажется ее звали,—была возлюбленной плотника Макса Митцеля, одного из присных Швейцера, весьма талантливого преемника Фердинанда Лассаля на посту председателя Всегерманского рабочего союза. И от нее я кое-что узнал об этом союзе,—правда, не об основах, на которых он был построен, так как ими она мало интересовалась. Берлинские члены союза собирались в те времена по воскресеньям в

ресторане на Газенгейде, в заведении Штрейта. По вечерам там танцовали, и Мари отправлялась туда в обществе своего возлюбленного, как только имела возможность это сделать. Так как она была очень хорошенькой бойкою девушкою, то он и представил ее Швейцеру, и однажды, как она с гордостью мне рассказала, она поздно вечером приехала домой в экипаже самого председателя.

О социализме и социалистической партии я тогда не знал ничего. В „Volkszeitung“, которую у нас выписывали, я об этих делах читал мало и то лишь одни неблагоприятные отзывы. Тем не менее в душе у меня шевелилась симпатия по отношению к этому движению. Припоминая высказанное однажды вечером моею матерью замечание, я стал сомневаться, действительно ли принципы прогрессивной партии представляют собой то, что нужно для бедных слоев населения, и не требуют ли демократические принципы более глубокого применения. Выросши в мещанских взглядах, я, однако, и при такой постановке вопроса делал выводы, приложимые лишь к мещанским же условиям жизни, и так, например, пришел к заключению, что мы по справедливости должны рассматривать нашу прислугу как члена семьи и соответственным образом с ней обращаться. Впрочем, практически осуществить этот вопрос не пришлось, так как Мари сама отказалась от места у нас, и отец мой пригласил упоминавшуюся уже ранее фрау Келер, женщину, которая в состоянии была взять на себя все ведение хозяйства. Результатом этого было то, что двое из нас тесно сдружились с двумя детьми сестры фрау Келер, упоминавшейся уже также в этих воспоминаниях,—фрау Бадинг. Сестра моя Элиза тесно сблизилась со старшей дочерью фрау Бадинг Еленой, а между старшим сыном ее Вильгельмом, или Вилли, и мной развилась еще более тесная дружба.

Когда я с ним познакомился, Вильгельм учился в последнем классе гимназии, учился вообще хорошо, но по некоторым предметам, в частности по математике, он был исключительно блестящим учеником. При этом он отнюдь не был зубрилой. У него был приятель, старше его на несколько лет, бывший член студенческой корпорации, по фамилии Прейс. И этот приятель вместе с другими студентами часто приглашал Вильгельма принять участие во всякого рода развлечениях, в том числе и выпивках; когда мы с Вилли подружились, я тоже стал иногда участвовать в них. Но вообще, дружба моя с Вилли не простиралась ни на кого из его тогдашних друзей, если не считать одного или двух, наоборот, мне приходится сознаться, что в некоторых случаях я, хотя и невольно, способствовал охлаждению отношений между Вилли и его прежними приятелями.

Зато мы с ним сходились все теснее. Я принял живейшее участие в классных его работах. Так например, когда в классе

должна была разбираться французская комедия Скриба „Рассказы королевы Наваррской“, мы оба с огромным наслаждением занялись подготовительными работами к этому разбору. Мы восхищались ловкостью, с которой построена эта пьеса. В другой раз я также принял участие в школьном сочинении. Старшему классу задано было рассуждение на тему о том, выгоднее ли жить в крупном государстве или в маленьком, недаром это было в 1869—1870 гг.: здесь имелись в виду приобретения Пруссии после войны 1866 г. и основание Северо-Германского Союза. Я предложил Вилли обработать тему диалектически, т.-е. написать сочинение в виде дискуссии, в которой различные точки зрения защищались бы вымышленными собеседниками, ведущими между собой полемику. Он на это согласился, и мы вместе изготовили дискуссию, причем я не могу припомнить, отдали ли мы в конце концов предпочтение какому-либо одному из защищавшихся взглядов. Я помню только отзыв учителя: по поводу избранной нами формы, он высказался отрицательно, сказав, что она недопустима, но прибавил примирительным тоном: „Сам по себе диалог составлен не плохо“.

Не меньший интерес внушали мне математические работы, задаваемые Вилли. Однако, так как я вышел из гимназии по окончании 6-го класса, то лишь в редких случаях я мог следить за работой восьмиклассника. Сюда относятся, например, логарифмические вычисления, о которых я имел лишь самое элементарное понятие. В других случаях мне приходилось быть довольным, если я хоть сколько-нибудь понимал смысл формул, являющихся содержанием поставленной ему задачи.

Но особенно нас сближало совпадение наших политических стремлений. Между тем как большинство его друзей либо были индиферентны к политике, либо же перешли в лагерь Бисмарка,—Вилли строго придерживался радикально-демократических убеждений, унаследованных им от отца, и во мне он находил решительного единомышленника. Так же, как и я, он скептически смотрел на войну 1866 г., так же, как и я, весьма хладнокровно относился к Северо-Германскому Союзу, и наравне со мной, вместо принятого этим союзом трехцветного черно-бело-красного знамени, придерживался старинных цветов бургеншафта—черно-красно-золотого, представлявшихся нам символом Великой Германии в смысле известного стихотворения Арндта „Что же отчизна германца?“, довольно неудачного в грамматическом отношении, кончающегося двумя стишками:

> Везде, где звучит немецкая речь
> И богу хвалебные песни возносит.

При этом мы не задумывались в то время над тем, как ко всему этому относились бы германские племена и наречия,

о которых шла речь. Для нас все это представлялось идеалом, погруженным в розовый туман будущего.

Поэтому не было никакого противоречия в том, что когда летом 1870 г. разразилась франко-прусская война, я писал гостившему в то время у родственников в деревне—Вилли, что Наполеону III ни под каким видом нельзя позволить одержать победу; я твердо верил во все печатающиеся в правительственной прессе известия о предшествующих войне дипломатических переговорах. Я писал далее, что если военные дела примут желательный для Наполеона оборот, то я твердо решил после второго же проигранного немцами сражения поступить добровольцем. Вилли спокойно ответил мне, чтобы я не столь легко воодушевлялся, ибо откуда нам знать, действительно ли совпадает то, о чем пишут в газетах, с тем, что происходит на деле в высших сферах. „Итак, прежде всего спокойствие".

Мне тем легче было сохранить это спокойствие, что обстоятельство, с которым было связано осуществление моего геройского намерения, и не думало наступать. Зато прошло несколько недель, и попытку вступить в ряды армии добровольцем сделал не кто иной, как сам Вилли.

Правда не из-за патриотического восторга, а под влиянием довольно дикой фантазии. Он узнал, что восьмиклассникам, вступающим в войска, сокращен будет срок школьного учения на один семестр. И для того, чтобы быть допущенным на несколько месяцев раньше к экзамену на аттестат зрелости, он решил явиться к призыву в какую-либо из воинских частей, расположенных в Бранденбургской провинции, и действительно, преодолевши всякого рода препятствия, так и сделал.

Подумать только, какая бессмыслица! В конце концов по тогдашним обстоятельствам вступление в войска связано было с серьезным риском жизнью: уже немало было об'явлено списков погибших, ясно указывающих на опасность. И тем не менее, юноша этот так и рвался туда,—и для чего? Чтобы избавиться от лишнего полгода гимназической учебы! Добро был бы он плохим учеником, для которого могло иметь значение доброе расположение экзаменаторов при испытаниях на аттестат зрелости. Но ведь Вилли, как я уже заметил, учился очень хорошо, и когда настало время, он прекрасно сдал экзамены. Кроме того, он по своему складу был человеком в высшей степени разумным. То, что он из-за такой чепухи собирался рисковать жизнью, является ярким примером того, как безоглядно юноши известного возраста склонны рисковать своей жизнью.

Но на деле все для Вилли ограничилось одними добрыми намерениями. Осуществил он их настолько, что в каком-то полку,—названия его не припомню,—он подвергся обследованию,

причем оказалось, что он недостаточно крепок для отбывания воинской службы, с чем и был отпущен. Надо полагать, что даже после более чем двух проигранных сражений меня постигла бы та же судьба. По достижении восемнадцати лет я вдруг и довольно быстро вырос, но произошло это за счет моего общего физического развития, и когда я перестал быть „маленьким“ юношею, я еще довольно долго оставался юношею „слабеньким“.

ПЕРЕМЕНЫ В МОЕЙ РАБОТЕ

В конце 1869 г. закончился срок моего учения в фирме братья Гутентаг. За это время я научился многому из тогдашних работ служащих банковских фирм. Я хорошо освоился с бухгалтерией, которая тогда была значительно проще, нежели теперь, знал толк в различных отраслях биржевого дела, хотя никогда и не бывал на бирже, и умел производить всякого рода вычисления, связанные с торговлей ценными бумагами и валютой, в том числе арбитраж, учет, контокоррент. Поэтому Юлий Гутентаг, после того как я проработал еще несколько месяцев в качестве младшего клерка, отрекомендовал меня своему доброму знакомому по фамилии Юда, приглашенному Веймарским банком в качестве заведующего отделением его в Берлине, и Юда принял меня на службу в качестве помощника кассира, положив и жалованье, соответствующее этой должности и вполне меня удовлетворяющее.

Однако, лицо, предназначавшееся для занятия места старшего кассира, некто Симон, мог вступить в исполнение своих обязанностей лишь месяцем позже предполагавшегося сначала срока, и когда я поступил на место, мне пришлось его временно заменять. Заместительство это накладывало на меня ответственность и работу, каких я раньше и не видывал. Тем более, что в банке не было учеников, и мне, кроме обязанностей старшего кассира и его помощника, приходилось выполнять еще множество кропотливой письменной работы, обычно поручаемой в других банках ученикам. Поэтому я работал чрезвычайно напряженно и почти никогда не имел возможности уйти из конторы раньше 8 часов. Я беспрекословно подчинялся этому, тем не менее, когда кассир вступил в исполнение своих обязанностей, я получил в один прекрасный день письменное извещение от дирекции с предупреждением о предстоящем устранении меня от должности без указания причин. Как потом оказалось, я совершенно безвинно оказался заподозренным в том, что в то время, когда я вел обе кассы, я поставил лишних 50 талеров в расход. Старший кассир сообщил мне об этом тогда, когда невинность моя уже вполне выяснилась, так как нашлась квитанция фирмы, которой я произвел выплату. Тем не менее, образ действия фирмы по

отношению ко мне—впрочем, насколько я знаю, Юда совершенно не был ответственен за него, виновником в нем был один из обоих бухгалтеров, переведенных из Веймара, который написал на меня донос,—настолько был мне неприятен, что я не только не подал заявления об аннулировании отказа от службы, но даже сам ушел из фирмы еще до окончания предоставленного мне срока. Мне было не по себе оставаться коллегою человека, совершившего такой поступок по отношению ко мне, несмотря на то, что я ничего ему не сделал и ничем не обидел.

Так как мне не удалось немедленно найти место в другом банке, то я временно взял место бухгалтера в большой торговой фирме текстильными товарами (оптовая торговля мануфактурою), что дало мне некоторые познания, касающиеся торговых обычаев этой отрасли торговли и промышленности. Но в общем мне там не понравилось, и к концу 1871 г. я поступил на службу в банкирскую фирму С. и Л. Ротшильд в Берлине, где я оставался до тех пор, пока в октябре 1878 г. не перешел к совершенно иному роду деятельности.

Фирма С. и Л. Ротшильд основана была первоначально в городе Мендене в Вестфалии, где владельцы имели бумажную фабрику. Когда оба брата, стоявшие во главе фирмы, решили, вероятно по настоянию подрастающих сыновей, перейти к банковым делам, то старший брат Самуил Ротшильд переехал в Берлин, между тем как младший Луи еще, кажется, несколько раньше поселился в Кельне. Дела в обоих городах велись под одной и той же фирмою, однако оба отделения работали совершенно самостоятельно. Берлинское отделение находилось под управлением весьма уже немолодого Самуила Ротшильда и его старшего сына Оскара, к которому впоследствии присоединился и его младший брат Луи, вначале работавший, как и я, клерком. Все трое вели себя по отношению ко мне вполне корректно, и когда я вступил в социал-демократическую партию, они многое мне спускали, чего не потерпели бы другие фирмы. В особенности это было ценно, когда летом 1878 г., после известного покушения на Вильгельма I, многие из биржевых дельцов прямо-таки старались науськивать их на меня.

Но об этом сказано будет в свое время. Когда я поступил на службу в фирму С. и Л. Ротшильд, началась уже так называемая эра грюндерства, когда всякий, кто только мог, старался превращать частные предприятия в акционерные общества. В целом ряде случаев превращение это было, правда, лишь естественным выводом, вытекающим из обстоятельств дела, а потому ничего нежелательного не представляло.

Столь благоприятный для Германии исход франко-прусской войны создал на денежном рынке и вообще в хозяйственной

жизни условия, во многих случаях приводившие к расширению промышленных предприятий и настоятельно требовавшие увеличения оборотного капитала; в таких случаях форма акционерных обществ являлась особо удобной. Бесчисленное количество людей среднего достатка располагало средствами, не достаточными для основания собственных предприятий или для участия капиталами в крупных предприятиях, и эти люди искали возможности поместить свои средства в бумагах, обещающих давать более высокие доходы, чем государственные процентные бумаги, промышленные и иные облигации. Эта масса тем охотнее покупала акции превращенных в акционерные общества промышленных предприятий, что при общем повышении цен на промышленные товары, да впрочем и на главнейшие продукты сельского хозяйства, казалось, что высокий дивиденд этим обществам обеспечен.

Мои шефы не принадлежали, собственно говоря, к числу грюндеров и почти всецело занимались комиссионными сделками, т.-е. выполнением поручений, получаемых ими от громадного числа иностранных и иногородних клиентов. Бывало, впрочем, и так, что их принимали в консорциум предприниматели грюндеры, или вернее говоря, что им передавали значительную часть бумаг консорциума, а они, в свою очередь, уступали небольшую часть своим клиентам. В течение довольно долгого времени уступка такой части представляла собой настоящий подарок. Курс шел для членов консорциума обычно в 90%, между тем как бумаги в назначенный срок котировались на бирже не только по паритету в 100%, а по большей части даже несколько выше его. И поэтому участникам было довольно легко передавать свою часть с выгодой в 10 или более процентов. Грюндеры скупали через своих агентов всякие партии акций, предлагавшиеся по несколько более низкому курсу, и таким образом искусственно поддерживали курс на той высоте, по которой им желательно было котировать. Они заботились о том, чтобы заинтересовать владельцев излюбленных публикой меняльных контор, предоставляя им известную долю выгод в ценах, назначаемых консорциумом, и тем самым побудить их способствовать сбыту акций в публике. Кроме того, они обеспечивали себе поддержку со стороны биржевой прессы и прочих газет, торговые отделы которых охотно читала публика; они привлекали издательство или заведующих соответствующими отделами к участию в консорциуме, предоставляя им акции по своим ценам.

Кое-что из этого я узнал на службе в конторе Ротшильдов, хотя сначала и не подозревал, что за этим кроется что-либо неладное. Полное представление о том, что делалось, и некоторое понятие о связанной с этим недобросовестности я получил, когда однажды вечером принял приглашение Зигмунда

Гутентага на ужин и встретился у него с упоминавшимся уже ранее неким Зильбербергом, служившим в фирме Роберт Варшауэр и К⁰. Когда речь зашла о грюндерских сделках, господин этот, в высшей степени добросовестный, о котором отзывался с похвалою мой дядюшка Адольф Розенберг, с величайшей резкостью стал нападать на такого рода сделки, называя их систематическим обманом публики и подрывом всякого доверия в банковое дело. При этом он называл имена, описывал происшествия, правда, не известные мне до сих пор, но по которым я без труда понял, что система, практиковавшаяся при такого рода сделках, допускает возможность самого наглого мошенничества. Последнее его замечание показалось мне правильным, а именно: он сказал, что если система эта будет продолжаться и развиваться, то неизбежно предстоит огромный крах всей торговой жизни.

Зильберберг не входил в более глубокое рассмотрение экономической стороны вопроса и совершенно не упоминал о возможных социальных последствиях в тесном смысле этого слова. Насколько мне помнится, в его глубоко взволнованных речах ни разу не прозвучало слово социализм. Касался он исключительно вопроса о роли морали в деловой жизни и о значении ее для публичного права, но я в то время еще совершенно мало смыслил в экономических связях явлений, чтобы самостоятельно делать выводы относительно действия их на самый организм народного хозяйства. Я помню только, что речи эти произвели на меня весьма сильное и неизгладимое впечатление, что, быть может, ничто не подготовило меня так к восприятию социалистического евангелия, которое мне вскоре после этого пришлось слушать, как эти филиппики солидного банкового служащего, собственно весьма далекого от всяких симпатий по отношению к движению, имевшему целью ниспровержение существующего строя. Взгляды, высказывавшиеся Зильбербергом, вероятно, сооответствовали и точке зрения его шефов на грюндерское движение.

Банковская фирма Роберт Варшауэр и К⁰ занимала в то время весьма своеобразное положение в банковом мире Берлина. Она считалась одной из наиболее солидных в финансовом отношении фирм и вела политику столь же сдержанную, как и значительно более сильная фирма Мендельсон и К⁰. Обстоятельство это поразило меня еще тогда, когда я, будучи учеником у братьев Гутентаг, должен был ходить по делам фирмы (за получением крупных денежных переводов и пр.) в большие банки. В противоположность постоянному шуму, царившему в помещениях также весьма богатых фирмы Блейхредер и Учетного Общества, у Варшауэр и К⁰ все происходило необычайно тихо; даже при большом наплыве публики с каждым приходящим по делу разговаривали весьма уважительно

и с большим спокойствием. Вход в контору обеих фирм находился в заднем корпусе, как, впрочем, в большинстве банков, и туда можно было попасть через внутренний двор, где посетителей уже встречала почти торжественная тишина. Фирма занималась главным образом кредитными операциями крупного масштаба и посредническими операциями по устройству кредитов различным государствам в форме займов, а также займов для юридических и частных лиц. Иногда фирма Варшауэр и К⁰ участвовала в преобразовании частных предприятий в акционерные общества, но всегда держалась далеко от грюндерства тогдашнего времени.

Должно быть экономический кругозор их был значительно шире, нежели у большинства специально занимавшихся грюндерством биржевиков и их клиентов, которых временные успехи вводили в заблуждение по поводу якобы безграничной устойчивости рыночной конъюнктуры. Однако, вовсе не требовалось быть шефом крупного берлинского банка для того, чтобы разглядеть слабые стороны этой конъюнктуры. Довольно скоро после того, как Зильберберг в тесном кругу берлинских друзей высказал опасения по поводу предстоящей экономической катастрофы, в Лондоне Карл Маркс писал в предисловии ко второму изданию первого тома монументального „Капитала":

„Полное противоречий движение капиталистического общества всего осязательнее дает себя почувствовать практическому буржуа в колебаниях того периодического цикла, который пробегает современная промышленность и высшим пунктом которого является всеобщий кризис. Кризис опять надвигается, хотя находится еще в своих подготовительных стадиях. Он обещает захватить настолько широкую арену, быть настолько интенсивным по своему влиянию, что, надо думать, научит диалектике даже баловней новой священной Прусско-германской империи"[1]). Слова эти помечены 24 января 1873 г.

Не далее, как спустя 3 месяца, в мае 1873 г. кризис явно начался, не сразу в Берлине, но сначала в Вене, где спекуляции велись еще более бесшабашно и покоились на менее прочных основаниях, нежели на берегах Шпрее. Вследствие тесной связи между крупными банковскими фирмами обеих столиц кризис вскоре передался и в Берлин, и хотя и тут как и там, он начался с биржевого краха, сопровождавшегося катастрофическим падением большинства биржевых бумаг, но мало по малу он привел к убийственному замиранию всей хозяйственной жизни. Наступило общее затишье в делах. В 1875—76 гг. это затишье было столь значительно, что когда я являлся на службу к Ротшильдам в половине десятого, т.-е. далеко не ранним утром, я, совершенно не торопясь, заканчивал

---

1) „Капитал", т. I, пер. под ред. В. Базарова и И. Степанова, ГИЗ. 1923 г., стр. XLVIII.

к 10 часам работу по разнесению записей в книги, которые поручено было мне вести; то же было и с моими коллегами. Двоих, поступивших последними, отпустили совсем, а остальных шефы продолжали держать на службе отчасти по личным мотивам, отчасти по соображениям внешнего престижа,—чтобы посетители не попадали в совершенно пустую контору. Весьма вероятно, что и меня в конце концов постигла бы судьба „сокращаемых“, если бы в один прекрасный день Ротшильдам не пришло в голову, чтобы не дать совсем замереть работе, взяться за срочные сделки на пшеницу и прочие сельскохозяйственные продукты. Для меня это было тем приятнее, что я таким образом имел возможность познакомиться с этой новой для меня отраслью банковского дела.

Однако, количество работы для меня от этого не особенно увеличилось, — к моему крайнему огорчению, ибо сколько-нибудь разумно пользоваться лишними часами в конторе было возможно лишь в самых редких случаях. Чаще всего в конторе было очень шумно, и невозможно было сосредоточиться, что необходимо для чтения и усвоения научной книги. Главным образом приходилось как-нибудь убивать долгие часы пустого рабочего дня. Коллеги мои, сидевшие со мной в одной комнате, часто занимались тем, что метали в цель остро отточенными перочинными ножами, кидая их либо в пол, либо в бумажную мишень. Игроки не боялись неожиданного появления шефов, ибо для того, чтобы пройти из их кабинета в нашу контору, необходимо было миновать продолговатую комнату, где помещалась касса, а из своей комнаты мы видели кассу как на ладони. Благодаря этому обстоятельству и тому, что я не мог состязаться с остальными в искусстве метания, я в течение целых часов играл в шахматы с меньшим сыном шефов, Луи, охотно приходившим к нам посидеть. Не могу, однако, сказать, чтобы я сколько-нибудь хорошо чувствовал себя при подобного рода развлечениях в конторе. Для этого мне нехватало прежде всего необходимого душевного спокойствия. Впрочем, так же чувствовали себя и остальные мои коллеги. — Мы убивали время, а не наслаждались этим.

Этим настроением и объясняется, почему однажды у нас чуть не дошло дело до рукопашной с младшим братом приятеля моего Бадинга, с которым я также дружил, и который благодаря моему посредничеству получил место в фирме Ротшильдов. Поспорили мы именно из-за небольшой бухгалтерской работы, которую оба хотели выполнить. Бездельничание стало для него столь же невыносимым состоянием, как и для меня.

Поскольку я в те времена занимался чем-либо действительно стоющим, — это происходило вне помещения фирмы. На службе же я, — как только примкнул к социал-демократическому движению, — стал прочитывать выходящий тогда

трижды в неделю в Лейпциге партийный орган. Читал его не только я один. Некоторые из моих коллег, которым я пригрозил, что перестану с ними разговаривать, если они не подпишутся на газету, взяли на нее абонемент. Из этого видно, какие у меня были хорошие товарищеские отношения. Однако, о движении среди сотрудников банковских предприятий не могло быть в то время и речи. Насколько далеки были подобные мысли от сознания этого слоя торговых служащих, я ясно увидел из слов одного коллеги, временно поступившего на место другого, выбывшего за отъездом. Он никак не мог взять в толк, каким образом я, сотрудник банкирской фирмы, могу быть социал-демократом. И выражал это непонимание истым берлинским восклицанием: „Какое вам дело до всех портных и сапожников?“

ПОПЫТКИ В ОБЛАСТИ ДРАМЫ И КОМЕДИИ

Было бы, само собой разумеется, неестественным, если бы при моей склонности к поэзии и любви к театру я в юношеские годы не попытался проявить себя во владениях муз более энергично, чем в описываемых в предыдущих главах моих поползновениях.

Начинаю с муз поэзии. Не говоря уже о более ранних и совершенно незрелых попытках драматического творчества, сознаюсь, что, будучи лет двадцати от роду, сочинил драму, над разработкой которой серьезно потрудился. Темой ее должна быть борьба Бранденбургского курфюрста Иоахима I с феодальным дворянством, драматической же целью являлась любовь упомянутого курфюрста к дочери лесного сторожа; все это происходило на фоне реформационного движения, против которого Иоахим боролся, но неудачно, так как оно проникло в его ближайшее окружение. Однако, как только я серьезно взялся за первый акт, я убедился, что обладаю недостаточными познаниями в истории того времени, чтобы иметь возможность обработать материал достойным образом. Вместо того, чтобы прежде всего взяться за серьезные труды по истории, и затем, исходя из них, ознакомиться с более специальными вопросами, я кинулся в королевскую библиотеку и стал там читать хроники того времени; но здесь я немного узнал из того, что мне было неизвестно. Как бы то ни было, но я до известной степени справился с основными моментами первого акта. Взявшись за второй акт, в котором должен был развиваться конфликт, я, к стыду своему, убедился, что все воображаемое мною в высоко драматическом виде, будучи переведенным на бумагу, представляется чем-то весьма прозаичным, и потому вряд ли можно было рассчитывать произвести этим потрясающее действие на душу зрителя. Конфликт не содержал в себе идеологических элементов, которые могли бы ему сообщить

поэтическую жизнь. То, что Гёте присочинил своему Гёц-фон-Берлихинген, чтобы расположить публику к этому швабскому авантюристу, я никак не мог придать своим дворянам из бранденбургской марки, о которых я не знал ничего, кроме того, что они спорили с Иоахимом из-за права грабежа и насилий на большой дороге. Я отложил рукопись в сторону с тем большим душевным спокойствием, что случайно нашел в прозаических сочинениях Клейста один рассказец, который автор сам определял как подходящий материал для театральной пьесы,— сюжет этот так меня поразил, что захотелось передать и обработать его для сцены.

Правда, в рассказе этом не было ничего драматического, он подходил скорее для комедии или, вернее, простой шутки и его хватило не больше, чем на один акт. Однако, в том настроении, в каком я находился, убедившись в никчемности задуманной мною драмы, все это меня нисколько не смущало, и я храбро взялся за разработку „комедии“, с которой я справился в довольно короткое время. Вопрос был только в том, куда ее пристроить.

Если описать все шаги, предпринятые мною с этой целью, вышла бы большая Одиссея, от изложения которой читателя пощажу, хотя приключения эти далеко не протекали однообразно. Расскажу только о некоторых эпизодах.

Перипетии начались еще у меня в голове вследствие присущей мне смеси необузданной фантазии и впадения в самокритику, доходящую до скептицизма.

Когда я работал над пьесой, я мечтал о постановке ее в Королевской комедии, лучшей тогдашней сцене Берлина,— на мой взгляд главная роль представляла собой благодарную задачу для характерного комика. Закончив свой труд, я догадался, что для королевского театра он является все же чрезвычайно легковесным и что лучше всего постараться пристроить его в тогдашний Вальнеровский театр, опять-таки лучшую сцену Берлина. Но когда дело дошло до того, чтобы пойти предлагать пьесу, то и туда сунуться показалось мне чрезвычайно рискованным, и я отправился на крайний север Берлина, в контору захолустного театра, именовавшего себя Национальным и, правда, не опускавшегося ниже известного уровня в выборе и постановке пьес. Заведующий репертуаром приветливо принял меня, обещал прочитать пьесу и просил наведаться через недельку-другую. Я ее, конечно, сдал, но когда явился, то получил в ответ, что пока что он совершенно не имел возможности ознакомиться с. пьесой; впрочем с точки зрения моих интересов это, по словам заведующего, не представляло собой ничего существенного, так как одного взгляда на репертуар Национального театра достаточно, чтобы убедиться в том, что одноактных пьес там вообще не ставят. Поэтому мне он

посоветовал попробовать счастья в другом театре. Пришлось взять обратно свою рукопись и вновь понизить требования к уровню сцены, которую я намеревался осчастливить своим творением. Я продолжал свои странствования,— в двух еще театрах, куда я сунулся, получил один и тот же ответ: „Одноактной пьесы мы не ставим".

Наконец, надо было отправиться на поиски театра, ставящего одноактные пьесы. В обоих театрах такого рода, к которым я обратился, мне повезло в том смысле, что руководители их нашли пьесу мою приемлемой. Один из них даже сказал мне несколько комплиментов на этот счет, и они готовы были ее поставить, если бы я только согласился на некоторые их предложения. В одном случае я не только должен был отказаться от гонорара,—на что я, разумеется, немедленно согласился,—но даже вынужден был бы сам переписать все роли; в другом театре директор, располагавший хорошими средствами, обещал уплатить мне гонорар, но предложил еще раз проработать пьесу вместе с режиссером, чтобы сгладить некоторые шероховатости. Как ни приемлемы были эти условия, однако, я по личным мотивам не согласился ни на одно из них и предпочел предоставить моей комедии разделить судьбу драмы. Последним проявлением жизни этой комедии было нечто, связанное с исходом одного опыта, который долженствовал доказать, насколько я способен был посвятить себя театральной карьере.

★

В описываемое время в столице Пруссии театры сдавались на „концессионных" началах, иначе говоря, для открытия театра требовалось разрешение властей, заботившихся о том, чтобы число театров не переходило известных узких рамок. Поэтому в Берлине существовал еще целый ряд так называемых постоянных любительских сцен. Поддерживались эти сцены кружками любителей, их друзьями и почитателями, представления давались в большинстве случаев раз в неделю.

Наиболее видной из этих постоянных любительских сцен была „Урания"; в мое время представления здесь давались поблизости от Денгофской площади, в здании, расположенном во дворе; если я не ошибаюсь, проходить туда нужно было не то с Линденштрассе, не то с Комендантштрассе. Играли там большей частью очень хорошо, и из „Урании" вышло несколько актеров, пользовавшихся впоследствии хорошим именем и не считавших ниже своего достоинства время от времени гастролировать на сцене, бывшей свидетельницей их первых шагов. Так например, я видел однажды в „Урании" знаменитого в те времена „характерного комика" Фридриха Гаазе в ролях, которые он обычно в других театрах не исполнял.

В описываемый период времени я подал заявление о приеме меня на одну из таких постоянных любительских сцен. Конечно, не в „Уранию“,—на это я претендовать не смел, но в кружок, именовавший себя „Талия“, про который мне говорили, что он „также хорош“. Действительно, когда я вступил в этот кружок, там участвовали недурные силы. Но кто совершенно не справлялся со своей задачей, так это тогдашний ее режиссер, владелец небольшой типографии. Я, правда, не могу пожаловаться на то, чтобы он когда-либо относился ко мне недоброжелательно; само собой разумеется, я не имел никаких оснований ожидать, чтобы он немедленно стал давать мне сколько-нибудь значительные роли; в общем отношения у нас сложились вполне дружелюбные. Но роли он распределял с полным и даже непонятным для меня отсутствием критического отношения к делу. Я вполне признавал, что ядро более опытных членов „Талии“ могло по праву претендовать на главные роли; это своего рода „естественное право“, господствующее во всех театрах. Но никак уж нельзя назвать естественным или хотя бы разумным право, на основании которого роли распределялись бы совершенно безотносительно к индивидуальности предполагаемого исполнителя. Так например, можно ли юноше, каким я тогда был, у которого и голос и внешность далеко не достигли еще полного развития, давать роли, требующие от исполнителя всех данных зрелого мужчины? Подобные роли доставались мне не раз, и эта несуразность настолько отравляла для меня удовольствие от игры, что я, не возбуждая жалоб и не произнося никаких торжественных заявлений, просто отошел понемногу от дела. Режиссер,—печатник, как я его прозвал,—настолько не отдавал себе отчета в мотивах моего поведения, что однажды, после того как я не являлся на репетиции около 3 недель, прислал мне в четверг вечером написанную на 5 листах роль „солидного любовника“ с просьбою явиться на читку на следующий вечер в виду того, что пьеса подлежит к исполнению не далее, как в ближайшее воскресенье.

Я был настолько бесхарактерен, что согласился исполнить эту просьбу, хотя было много разумнее отказаться от нее, приведя в свое извинение имеющиеся у меня солидные причины. У меня были обязательства, решительно лишавшие меня возможности хотя бы выучить наизусть к воскресенью роль; умения играть „под суфлера“ у меня совершенно не было, ибо всегда я знал свою роль на-зубок. Вследствие всех описанных причин, хотя и не произошло прямой катастрофы на сцене, однако своей партнерше „инженю-комик“ я совершенно испортил ее главную сцену. Обстоятельство это настолько меня огорчило, что немедленно по окончании пьесы я ушел ни с кем не простившись и не показывался более в „Талии“.

Благодаря этому была утрачена для меня и рукопись моей комедии. Дело в том, что я рассказал о моей пьесе режиссеру и по его просьбе дал ему прочитать рукопись. После же описанного печального происшествия я ее у него так назад и не потребовал. Право не знаю, что он с ней сделал впоследствии. Но предполагаю, что с течением времени он продал ее вместе с прочей макулатурой какому-либо старьевщику. В таком случае и это творение постигла та же участь, что и рукопись первых актов сочиненной мною однажды драмы,—впрочем, эта судьба была вполне заслужена обоими произведениями.

★

Горбатого только могила исправит. Дезертирством—иначе назвать не могу—из „Талии“ не окончились мои упражнения в области театра. Я и после этого несколько раз пробовал свои силы в театральных представлениях, иногда в семейном кругу, а иногда и перед более широкою публикою, в том числе в спектаклях, устраиваемых в кружках социалистов и их семейств. При этом я добровольно брал на себя роли самого разнообразного характера. Дошло до того, что во время одного представления, в котором друг мой и партийный товарищ Гуго Адам и я попеременно участвовали в качестве режиссеров (каждый из нас режиссировал пьесу, когда сам не участвовал), когда в последнюю минуту одна из исполнительниц не явилась, я взял на себя ее роль и выступил в качестве женщины, на сей раз „матери“, причем никто и не заметил моего пола.

Забегая вперед, замечу, что в восьмидесятых годах прошлого столетия я довольно долгое время принимал участие в деятельности драматического кружка Немецкого рабочего союза в Цюрихе, правда, ни в качестве исполнителя, что считалось бы несовместимым с положением редактора „Социал-демократа“, а в качестве режиссера. Однако, и тут в один прекрасный день мне чуть не пришлось заменить собой одну из исполнительниц. Во время генеральной репетиции пьесы „Марианна—женщина из народа“ исполнительница Марианны, главной роли, Олимпия Любек—жена почтенного писателя Карла Любек, впоследствии мужа Розы Люксембург,—внезапно упала в обморок на почве истощения и переутомления. Так как невозможно было отложить представление, необходимо было как можно скорее найти ей заместительницу. К кому мы не обращались с просьбой взять на себя эту роль, всюду нам отвечали отказом. И я стал серьезно раздумывать над вопросом, не взяться ли мне в конце концов за это дело. Выучить роль наизусть не стоило мне никакого труда, так как я ее приблизительно запомнил во время многочисленных репетиций. Но что было поделать с моей фигурой! Я не только вырос, я уже, увы, несколько лет как начал раздаваться в ширину, и живот мой заметно округлился.

Как же было изображать стройную молодую девушку! Чем больше я вдумывался в положение, тем яснее для меня становилась невозможность задуманного мною плана, и я похоронил его навеки в своем сердце. К счастью, в последнюю минуту нашлась подходящая исполнительница, и представление удалось поставить, как того требовала программа.

Представление это ничем особым не отличалось. Но о самой пьесе стоит сказать несколько слов. Она была переводной с французского, и подлинник имел символическое значение, совершенно пропавшее при переработке на немецкий язык. Во время монархической реакции пьеса эта представляла собой до известной степени политический символ. У французского народа „Марианна“—название республики, и судьба, постигающая молодую девушку Марианну, героиню пьесу, олицетворяет собой судьбу республики. Многие моменты пьесы производят на соответственным образом подготовленного и расположенного зрителя несравненно сильнейшее впечатленне, нежели в Германии, где публика может видеть в этой пьесе лишь довольно слезливую сентиментальность.

Названную пьесу постигла та же судьба, что и „Парижского старьевщика“ Феликса Пиа, весьма популярную в свое время пьесу. Этой пьесы, как и „Марианны“, я в подлиннике не читал. Когда мне пришлось увидеть ее на немецкой сцене,—дело было в Берлине до моей поездки к Карлу Гёхбергу,—мне в нескольких местах показалось, что они означают нечто иное и большее, нежели разумела присутствующая публика. Возможно, что по цензурным соображениям переводчики нарочно затемнили текст, но так же возможно, что то было дело самой цензуры. Как бы то ни было, в настоящее время обе пьесы довольно-таки отжили свое, и если кому-либо интересно к ним вернуться, то необходимо их „освежить“ по подлинникам.

Некоторое „освежение“ не помешало бы, впрочем, также и другим произведениям драматической музы. К числу пьес, в которых я в Берлине выступал до моего отъезда на долгие годы, относится также и одноактное произведение покойного Коцебу „Прямой путь—лучший путь“. Мне досталась главная роль. Я играл Илью Крумма, роль, которую в то время охотно исполняли многие театральные знаменитости. Она оказалась весьма благодарной для меня; она принадлежала к числу тех ролей, которые испортить никак нельзя,—отчасти потому, что пьеса представляет собой совершенную чепуху, чистой воды водевиль. В сущности говоря, она совершенно не доказывает того, что доказать должна. Илья Крумм не потому не получает желанного места пастора, что он идет „окольными“ путями,—впрочем, не столько окольными путями, сколько состоящими из смеси низкопоклонства и примирения с условиями, навязываемыми ему попечителем прихода,—сколько потому, что на

пути его случайно встречается молодой богослов, в которого в дни девичества влюблена была вдова пастора, от решения которой согласно условиям, зависел выбор нового пастора. Если пьеса что-либо и доказывает, то вновь только бессмыслицу старой системы патроната, связанную с феодальными помещичьими правами. Разумнее было бы на этом основании заглавие ее видоизменить так: „Каким путем добиваются прихода“.

Не трудно раскрыть внутренние противоречия в пьесе. Когда мы ее репетировали, они, можно сказать, автоматически выпирали наружу. Когда однажды вечером, беседуя в ресторане Гарейса с режиссером одного из так называемых народных театров, мы разговорились об этой пьесе, я накинулся на нее со всей страстью, преисполнявшею меня в дни молодости по отношению ко всякой внутренней лжи. Спор у нас вышел острый и весьма злобный. Собеседник мой ценил пьесы с другой стороны, с точки зрения их сценичности. Но что Коцебу умел писать роли выигрышные, не подлежит никакому сомнению. Можно было сказать еще кое-что в защиту этого комедианта, сочинителя комедий. В пьесах его наглядно, а зачастую со всей резкостью сарказма, изображались нравы его времени и умственное убожество тогдашнего немецкого мещанства. Не дурна была и мысль противопоставить оба основных характера в этой пьесе: бесхарактерный, лукавый, низкий льстец и низкопоклонник, с одной стороны, и, с другой стороны, характер твердый, вплоть до самопожертвования. Однако, не то всегда бывает у Коцебу. Поставленная таким образом задача разрешается настолько поверхностно, что вытекающая из нее мораль превращается в крайнюю неправду. Мысль эту я с такой страстью развивал перед моим театральным собеседником, что он вдруг вскочил и вышел из ресторана, заявив, что он не в состоянии слушать, как такой молокосос, как я, позволяет себе выражаться о пьесах, пользующихся всеобщим признанием.

ПОД ЗНАКОМ „УТОПИИ“

Я упоминал уже, что когда мы сдружились с Вилли Бадингом, он поддерживал приятельские отношения с несколькими студентами, хотя и был еще гимназистом, причем дружба эта выражалась, между прочим, и в общих выпивках, в которых подчас принимал участие и я. Выпивки эти участились, когда Вилли весной 1871 г. сдал экзамен на аттестат зрелости. И в один прекрасный день было решено придать им некоторую правильность, а с этой целью основать союз, хотя и не строго связанный с обычаями корпорантских студенческих объединений (так например, допускались отступления в виде привлечения в число членов и не одних студентов), но поддерживающий лучшие традиции студенческой товарищеской

жизни и соблюдающий при выпивках правила студенческого „Уложения“. Вилли Бадинг предложил окрестить союз именем „Утопии“. Ему известно было из истории, что канцлер английского короля Генриха VIII Томас Мор, по-латыни Morus, описал под таким именем некое идеальное государство; принятием этого имени мы хотели выразить, что союз наш должен был представлять если не идеальное государство, то идеальное общество, стоящее выше повседневности.

Предложение было принято единогласно. Правда, никто из нас не знал, что „Утопия“ почтенного Мора изображает коммунистическое общество. Впрочем, если бы мы это и знали, то возражений, должно быть, и не было бы. Никто из нас не помышлял о политических или социалистических задачах. Некоторые из нас скоро начали тешить себя фантазиями о некоем царстве, где молочные реки текут в кисельных берегах, представляли себе идеал жизни без забот, жизнь, полную наслаждений. В то время в Берлине существовало общество, называвшееся „Аркадия“[1]), и известно было, что на празднествах, устраиваемых им, принято было веселиться весьма шумно и вольно; хотя мы и не помышляли о том, чтобы подражать такого рода празднествам, однако все же представление, связывавшееся нами с идеалом „Утопии“ подходило к представлению о такой „Аркадии“ ближе, чем к социалистическому обществу. Поэтому нисколько не противоречило идее нашей „Утопии“, если члены ее, чтобы резко выявить оторванность союза от будничной жизни, звали себя „княжескими титулами“, правда, только за столом во время пирушек. Никто не подозревал, что некоторые из нас от такой „Утопии“ найдут путь лишь к социализму. Пока что, когда однажды вечером к нам присоединился в качестве гостя один из моих приятелей, обладавший порядочным художественным талантом, мы попросили его нарисовать для нас герб „Утопии“, и под ним по примеру гербов студенческих организаций мы подписали девиз: „Под знаком Утопии“.

В первое время члены „Утопии“ собирались для выпивки каждую неделю по средам и субботам. Под председательством выборного, каждый вечер нового, президента мы пили согласно правилам „Уложения“, пели соответствующие студенческие и народные песни, бились об заклад, кто кого перепьет, а раз в неделю читали живую „пивную газету“. Газета эта, конечно, не только не печаталась и не размножалась каким-либо механическим способом, но даже никогда толком не записывалась. „Редактор“, которому поручено было ее составлять, просто прочитывал по своим заметкам то, что он для нее подобрал подходящего, и это дополнялось творчеством добровольных сотрудников. Происходили также состязания в шутливых стишках.

---

1) Земля блаженства, изобилия, привольная, беспечная жизнь и т. п.

Итак, было не мало поводов для веселого времяпрепровождения. Однако, дело не всегда этим ограничивалось. Чем более поздним становился час, и чем сильнее действовал выпитый алкоголь, тем резче становились подчас споры, иногда до такой степени, что дело принимало серьезный оборот. Так часто случалось с приятелем моим Вилли. У него бывала различная сопротивляемость алкоголю,—иногда он был в состоянии выпить в течение одного вечера пятнадцать и более кружек пива и нисколько не приходил в возбуждение; в другой же вечер он терял власть над собой уже после третьей кружки. В таком состоянии он устраивал иногда сцены, приводившие его друзей в крайнее замешательство.

С другой стороны, он же и был первым, почувствовавшим нравственную неудовлетворенность от того, что два вечера посвящали выпивке. Однажды он высказал мне эти соображения и встретил с моей стороны полное сочувствие. Я с восторгом присоединился к его мысли, и мы предложили остальным членам „Утопии“ посвящать один вечер в неделю, а именно субботу, разумным развлечениям, беседам, введением к которым должны были служить научные доклады, зачитываемые по очереди каждым из нас. Предложение наше прошло, и мы завели „научные вечера“.

Самой собой разумеется, что слово „научные“ надо было разуметь в смысле весьма и весьма ограничительном. О самостоятельной научной работе никто из нас и помышлять не мог. Мой первый доклад назывался „Введение в теорию политической экономии“, но озаглавить его можно было и так: „Переложение статьи из словаря Мейера“,—Konversations-lexikon“. Ибо на ряду с устарелым учебником я взял в помощь „Мейера“ и главным образом по его словарю и вел изложение. Другой из членов „Утопии“, студент-медик, прочел нам доклад о кровообращении, списанный из учебника физиологии. Еще один из членов занял нас переложением одной главы смитовского „Богатства народов“. Но разве дело было в оригинальности докладов? Суть в том, что мы вообще пытались серьезно заняться вопросами, имеющими научное значение. По мере развития наших вечерних заседаний необходимо должны были подняться и требования, предъявляемые к докладам, и споры, связанные с ними, должны были обострить наше суждение и продвинуть нас на более тесное знакомство с вопросами. Большим преимуществом было также и то, что отныне сходкам „Утопии“ не предстояло уже выродиться в рабское подражание выпивкам студенческих корпораций.

Этим самым я нисколько не хочу осудить выпивки, происходящие по определенному плану. Все зависит здесь от того духа, которым при этом руководствуются. Для людей непьющих таких правил вообще не требуется. Там же, где

потребляются, кроме пива, и другие спиртные напитки, во всяком случае не мешает, чтобы молодые люди подчинялись известным правилам. В последующие годы мне не раз приходилось жалеть о том, что некоторые вечера с выпивками протекали без всяких правил и руководства. В таких случаях никогда не достигалось той веселой общности, основанной на живом чувстве связи между членами, которую я считал бы возможною и желательною. Конечно „Уложение“ никогда не нужно понимать так, как бывало в прежние годы, когда оно служило поводом и средством к безобразному пьянству; само по себе оно нисколько не связано с такими скверными обычаями.

ОТ „УТОПИИ“ К СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ

Хотя и не непосредственно благодаря устройству научных вечеров, но по поводу их вышло так, что однажды один из руководящих членов социал-демократической партии прочел доклад в „Утопии“ о социализме и социалистическом движении. Дело было так:

Летом 1871 г. в различных газетах появились воззвания, возвещавшие об основании нового органа—„Демократической газеты“, имеющей целью проводить принципы и требования крайней левой демократии. То обстоятельство, что первым подписавшимся под воззванием был глубоко почитаемый нами Иоганн Якоби, сразу завоевало расположение Бадинга и мое в пользу новой газеты. Мы предложили „Утопии“ подписаться на эту газету, выражавшую мнение крайней оппозиции, а также подписаться и на какой либо правительственный орган. Предложение наше было принято. Из правительственных газет мы выписали „Имперский и государственный указатель“, в котором помещались правительственные сообщения, но не было ни политических известий, ни статей. Вследствие этого наши товарищи по „Утопии“, сочувствующие правительству, должны были испытывать некоторую неудовлетворенность, однако они на это никогда не жаловались.

Как ни скромны были рамки демократической газеты, однако мы узнавали из нее в числе прочих известий также и кое-что о происходящем в социал-демократической среде, о чем в прочей повседневной прессе либо вовсе не упоминалось, либо же говорилось весьма неодобрительно. Кроме того, у разносчика, трижды в неделю продававшего по близости от Галльских ворот незадолго до того основанный орган социал-демократов-лассальянцев „Новый социал-демократ“, я покупал номера этой газеты; хотя нарочито грубый тон не особенно мне нравился, тем не менее я знакомился с идеями, о которых до тех пор мне слыхать не приходилось.

Таким образом вышло, что когда однажды я был в гостях у Вилли Бадинга, и мы разговорились с ним о политических событиях, одинаково нам обоим не нравившихся, я мельком заметил: „В конце концов, быть может, социал-демократы не совсем неправы“, на что он ответил: „Пожалуй, ты и не ошибаешься“. Согласие его как раз и заставило меня призадуматься. Я бросил свое замечание наобум и совершенно не мог бы его обосновать, так как ничего толком не знал об отношении социал-демократии к обсуждавшимся нами вопросам. Просто я выразил впечатление, создавшееся у меня под влиянием определенного настроения. Идя домой, я отдал себе в этом отчет, мне стало несколько совестно, и я порешил хоть немного все же ознакомиться с идеями и политикой социал-демократии. На следующий день я забежал в книжную лавку, и так как в ней популярные брошюры не продавались, то я приобрел книгу Лассаля: „Господин Бастиа — Шульце-фон-Делич“ или „Капитал и труд“, а также и книгу Дюринга, о котором я, как о радикальном мыслителе, кое-что и слыхивал,— „Критическая история политической экономии и социализма“.

Сильно сомневаюсь в том, чтобы какая-либо из этих книг могла обратить меня в социалистическую веру. Преувеличенные выражения Лассаля в названной его работе прямо-таки произвели на меня отталкивающее впечатление. То, что он писал по поводу прогрессивного деятеля социальной политики Шульце-Делич и моего дядюшки Арона Бернштейна, совершенно искажало общественные стремления этих деятелей и было, кроме того, полной несправедливостью по адресу их как личностей. Можно было во многом критиковать Арона Бернштейна, как политика, но выставлять его, человека, о котором Лассалю доподлинно было известно, что он, можно сказать, безвыходно сидел у себя в ученом и рабочем кабинете,—выставлять его, как тип поверхностного журналиста,—такого рода образ действий нельзя было оправдать даже вполне законными полемическими соображениями. Что же касается вопроса о кооперации, коренного пункта всего спора, то в сущности Лассаль был в нем не более прав, нежели его противник Шульце-Делич: защищаемый Лассалем план производственной кооперации, финансируемой государством, заключал в себе, кроме того, такие противоречия, что воодушевиться им не мог ни я, ни кто-нибудь другой, не принадлежавший, как и я, к буржуазии, но также не являющийся и пролетарием. Дюринг же, в свою очередь. в указанной книге проводит свою критику со слишком большим чувством своего превосходства, чтобы произвести сколько-нибудь глубокое впечатление на душу читателя.

Как бы то ни было, чтение это подействовало на меня настолько захватывающе, что я пользовался малейшей возможностью в те дни, когда Дюринг читал публичные лекции

в самой большой университетской аудитории (№ 6), покидал службу еще с 6 часов вечера и спешил слушать его курс о новых теориях философии и социальных наук.

Подогрели же наши симпатии к социалистическому движению два больших процесса, возбужденные против руководителей того крыла движения, которое в духовном отношении считало себя родственным Международной Ассоциации Рабочих. Из обоих выдающихся вождей этого крыла, т.-е. социал-демократической партии Эйзенахского направления,—Августа Бебеля и Вильгельма Либкнехта,—последний был старым соратником и другом Карла Маркса, наиболее значительного мыслителя среди заседающего в Лондоне Генерального совета Интернационала; Либкнехт считался выразителем взглядов Маркса в Германии.

Первый из названных процессов был направлен против ответственных членов партийного центра социал-демократической рабочей партии; разбирался он в октябре 1871 г. в окружном суде в Брауншвейге, где сначала имел пребывание руководящий центр партии, официально именовавшийся делегацией партии. История этого процесса чрезвычайно интересна с политической точки зрения и полна характерных особенностей, которые можно привести в параллель с событиями нашего времени. Правда, в начале франко-прусской войны обвиняемые заняли позицию, значительно отличающуюся от той, которую Вильгельм Либкнехт защищал в редактируем им органе партии „Volksstaat“, выходившем в Лейпциге. Так например, в Северо-Германском рейхстаге Бебель и Либкнехт по мотивированным с оппозиционной точки зрения основаниям воздержались от голосования по поводу требования правительства согласия парламента на заключение военных займов. Обвиняемые же по процессу выпустили 24 июля 1870 г. воззвание к партии такого содержания, что ввиду объявления войны бонапартовским правительством Франции всем немцам необходимо сплотиться для отражения нападения; они прибавили, что, покуда налицо будет опасность, они будут „со всей решительностью помогать защищать неприкосновенность страны от наполеоновского и всякого иного произвола“.—Когда же после победы Германии националисты всех видов подняли шумную агитацию за насильственное отторжение Эльзас-Лотарингии от Франции, и жертвой этой агитации стали широкие круги немецкого народа, незнакомые с истинным положением вещей в этих провинциях и неясно сознававшие политическое значение такого рода насильственных действий,—та же делегация подписала новое воззвание к партии, призывая всех членов ее всеми силами противодействовать этой агитации, причем в воззвании было перепечатано известное послание Карла Маркса (впрочем, имени его не упоминалось), в котором он

со свойственным ему одному стилем пророчески предсказывал не только для Германии, но и для всей Европы, печальные последствия, которые должна была повести за собой насильственная аннексия Эльзас-Лотарингии.

Когда было обнародовано это воззвание, прусский генерал Фогель фон-Фалькенштейн, которому поручена была охрана приморских областей, приказал арестовать членов делегации по обвинению в государственной измене и отправить их в цепях в Восточную Пруссию, где их содержали под арестом при крепости Лётцен. Желтая пресса травила их как государственных изменников; как государственных изменников их оскорбляла по дороге всякого рода публика; некоторые фанатики даже плевали в них, и по окончании войны их должны были судить за государственную измену. Однако, не нашлось судебного учреждения, которое признало бы возможным поддержать обвинение в государственной измене на основании упомянутого воззвания. Прежде всего можно было оспаривать законность действия упомянутого генерала, предпринявшего столь решительные мероприятия для охраны вверенных ему приморских областей. Когда после окончания процесса во всех его инстанциях один из арестованных по распоряжению генерала, со своей стороны, возбудил жалобу о возмещении ему проторей и убытков, суд в Брауншвейге действительно присудил генерала к уплате требуемых денег, которые ему, правда, не пришлось выкладывать из собственного кармана. В виде особой милости средства на это были пожалованы ему Вильгельмом I.

Хотя и не удалось инсценировать процесс против делегации по обвинению в государственной измене, зато удалось, хотя и не без трудов, добиться в Брауншвейгском окружном суде разбора дела по обвинению делегации на основании найденных в помещении ее бумаг, в нарушении основ государственного порядка,—довольно растяжимое понятие прежнего судебного Уложения. Дело разбиралось с 23 по 25 ноября 1871 г. и завершилось приговором, по которому обвиняемые присуждены были к довольно длительному тюремному заключению. Однако, судебная палата в Вольфенбютеле, в которую они подали апелляционную жалобу, значительно снизила сроки заключения, и так как краткосрочное наказание, к которому палата приговорила обвиняемых, поглощалось предварительным заключением, то в результате решение палаты вполне равнялось оправданию.

Больше того. Во время разбора дела, о котором „Демократическая газета“ давала довольно подробные сведения, выяснилось много обстоятельств, благодаря которым подсудимые, в особенности главный обвиняемый, молодой Вильгельм Бракке, сын состоятельного купца, выставлен был настолько в благоприятном свете, что не мог не возбудить симпатии у всех,

кто следил за процессом [1]). Такого рода симпатии в сильной мере проявлялась у Вилли Бадинга и еще у двух наших сверстников, товарищей по „Утопии“, и у меня.

То, что нам приходилось читать о борьбе против агитации аннексионистов, производило, в особенности на меня, весьма сильное впечатление. Когда за год до того в Берлин дошло известие о победе при Седане и о пленении Наполеона III, я был твердо убежден, что войне пришел конец. Я никогда не мог себе представить, что она будет продолжаться, несмотря на то, что во Франции империя была уничтожена, и провозглашена республика. Правда, в вопросе об Эльзас-Лотарингии я не успел составить себе определенное мнение, о тамошних делах я не знал почти ничего, а то, что приходилось читать в буржуазных газетах, было полно противоречий. Нигде нельзя было найти точных сведений по поводу того, как относилось к вопросу само население Эльзас-Лотарингии; об этом по большей части не говорили, и вопрос разбирался исключительно с точки зрения права Германии на это. Об этом пункте я также суждения иметь не мог, и поэтому для меня вопрос стоял в чисто утилитарном разрезе, а именно заключался он в том, стоит ли Германии и Франции, вместо какого-нибудь выхода на основе соглашения, продолжать кровопролитие и связанные с ним ужасные последствия войны, и все ради весьма спорных благ. Хотя у меня и не было особых симпатий по отношению к французам, тем не менее безудержная брань по адресу всей нации, считавшаяся в широкой публике делом патриотическим, была для меня вещью совершенно невыносимой. Мне дважды приходилось энергично высказываться против такого рода речей в публичных местах, за что я и был довольно энергично из них вышвырнут. Мне сызмальства было отвратительно всякое фарисейство и казалось невозможным судить о народе в целом, а в те времена всякое приходилось выслушивать по такому поводу. Правда, по сравнению с войной 1914—18 гг. война 1870—71 гг. представляется почти что идиллией. Однако, и тогда уж она принесла с собой серьезную отраву и разложение духа и настолько подкосила всякую возможность разумного суждения, всякое чувство справедливости по отношению к противной стороне, что меня часто охватывал ужас.

Воззвания же обвиняемых по Брауншвейгскому процессу и их партии написаны были совершенно иным языком. В воззвании, выпущенном в июле 1870 г., в котором делегация

---

[1]) Подробный отчет о процессе, а также и весь обвинительный материал был тогда же издан Бракке в виде отдельной книги под названием „Брауншвейгская делегация социалистической рабочей партии в Лётцене и на суде“. Книгу эту стоит прочитать еще и теперь.

предлагала бороться за победу Германии, членам партии внушалось, что их обязанность „не поддаваться опьянению победой", а просто памятовать: „что мы не только немцы, не только Германию желаем видеть объединенною и свободною, но что наши соседи-французы, что все народы земли—наши братья, и что нас с ними объединяют одинаковая судьба и одинаковые стремления",—что нельзя позволять „ненависти наполнять сердца наши по отношению к французским рабочим, французской нации". В моих ушах слова эти звучали небесною музыкою.

Из государственных сообщений нельзя было ясно узнать подробности о партии, местонахождении ее делегации; не узнали мы из них также, что у партии были сочлены и в самом Берлине. О ней писалось, как о партии, имевшей членов в некоторых средних и мелких местностях, и тем самым она для нас становилась чем-то потусторонним—в таком же смысле, как представляется коренному парижанину, когда он говорит о провинции: „là bas". По нашим сведениям в Берлине имелись только лассальянцы и основанный ими Всегерманский рабочий союз.

Судьбе угодно было, что однажды после окончания заседаний „Утопии" двое из наших товарищей предложили Вилли и мне пойти с ними выпить кружку пива в небольшой подвал, расположенный поблизости от места наших заседаний, на Моренштрассе. Когда мы уселись, кельнерша сказала кому-то, что в соседней комнате сидит депутат рейхстага Швейцер; одушевленный желанием познакомиться, если окажется возможным, с лидером социал-демократии, я встал и вышел в соседнюю комнату. То была биллиардная, и у стола стоял единственный посетитель, высокий, широкоплечий, довольно плотный, просто одетый человек. Так как я ничего не знал о наружности Швейцера, то я действительно решил, что вижу его самого перед собой. Недолго думая, подошел к нему и спросил, имею ли я честь разговаривать с г-ном Швейцером. „К сожалению,—ответил он,—я всего лишь его коллега,—фамилия моя Фритче". Имя это не было мне вполне незнакомо. Года за два до того в Берлине происходила забастовка табачников, и в ней руководящую роль играл некий Фритче. Я спросил его, не он ли это будет. Он ответил утвердительно, и на мои дальнейшие вопросы подтвердил, что в течение некоторого времени состоял депутатом Северо-Германского рейхстага (в июле 1868 г. он был избран в рейхстаг на дополнительных выборах в Рейнской провинции, но как и все социал-демократы, заседавшие в Северо-Германском рейхстаге, за исключением Августа Бебеля, он при первых выборах в Германский имперский рейхстаг был забаллотирован). Так как ему, очевидно, было приятно, что с ним разговаривает лицо, знакомое с его политической деятельностью и

выказывавшее к ней интерес, то я сказал ему, что сижу в соседней комнате с несколькими друзьями, которые подобно мне были бы чрезвычайно рады с ним познакомиться, и пригласил его присесть к нашему столику. Он так и сделал, и у нас завязался разговор, в результате которого мы попросили его прочитать нам в „Утопии" доклад о социализме и различных социалистических партиях, на что он охотно согласился.

Таким образом случилось, что в следующий „научный" вечер в „Утопии" состоялся доклад известного социал-демократа на столь значительную для нас тему. Фритче был в 1862 г. одним из трех уполномоченных Лейпцигского Рабочего Просветительного Союза, явившихся в Берлин к Фердинанду Лассалю с тем, чтобы вместе с ним выработать план, приведший к основанию Всегерманского Рабочего Союза. Он изложил нам в кратких чертах историю возникновения и развития этого Союза, основание Международной Ассоциации Рабочих и ее влияние на движение в Германии, раскол во Всегерманском рабочем союзе вследствие двусмысленной позиции Швейцера и, наконец, основание социал-демократической рабочей партии с Эйзенахской программой; к концу доклада он высказался за политику этой партии и за ее программу. Речь его произвела сильнейшее впечатление на Вилли, на двух наших друзей и на меня. Все мы до конца выслушали ее с глубочайшим вниманием. Меня особенно захватило то, что он рассказал об Интернационале и о его работе. Я выразил это чувство в поэме, которую написал для нашей живой газеты, но, насколько помню, не прочел вслух, принимая в соображение консервативных членов нашей „Утопии". Произведение это было написано в подражание одному юмористическому стихотворению Гейне, и первою строфою я заканчиваю настоящий первый том своих воспоминаний.

Сидели мы в тесном кругу,—
На сей раз обошлось без скандала;
И вот уж—в полночном часу—
Мы члены И н т е р н а ц и о н а л а!

БЕЛЕБЕЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛ...

Рассказ Фритче о развитии Интернационала вызвал в нас решение безотлагательно вступить в число членов существовавшей в Берлине организации приверженцев Интернационала. Намерение это было немедленно приведено в исполнение. Прошло всего несколько недель, и мы с Вилли Бадингом и двумя нашими товарищами по „Утопии" стали членами Германской Эйзенахской Социал-Демократической Рабочей Партии.

★ ★ ★

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00019068170